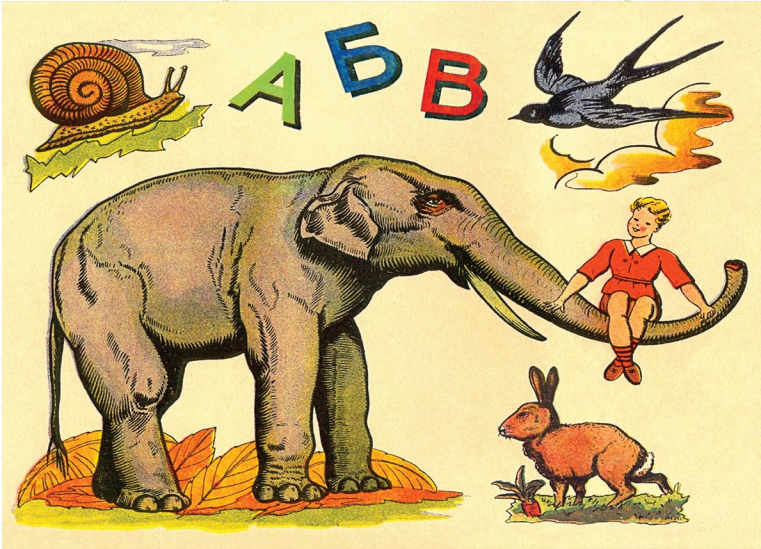
ВНЕКЛАССНОЕ чтение



Саша Чёрный

Живая азбука

Живая азбука (сборник)
Саша Чёрный

Аннотация
Саша Черный. Живая азбука
Живая азбука
Стихотворения
- Приставалка
- На коньках
- Перед сном
- В огороде
- Галчата
- Мартышка
- Скрут
- Сверчок
- Черника
- Городские чудеса
  1. Пчела
  2. Обезьянка
- В Булонском лесу
- На крыльце
- У Сены
- Ночные ламентации
- На току
- Собачий парикмахер

В угловом бистро
1. Каменщики
2. Чуткая душа
Библейские сказки
Отчего Моисей не улыбался, когда был маленький
Сказка о лысом пророке Елисее, о его медведице и о детях
Первый грех
Праведник Иона
Детский остров
Невероятная история
Самое страшное
Голубиные башмаки
Счастливый карп
Купальщики
Тихая девочка
Дневник фокса Микки
О Зине, о еде, о корове и т. п.
Стихи, котята и блохи
Разные вопросы, мой сон и мои собачьи мысли
Осенний кавардак
Я один
Переезд в Париж
На пляже
В зоологическом саду

Как я заблудился
В цирке
Проклятый пароход
Возвращаюсь в Париж и ставлю большую точку

Аннотация

В книгу включены стихотворения и проза Саши Черного для детей, рекомендованные к прочтению в 1–5-х классах.

Саша Черный
Живая азбука

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

Живая азбука

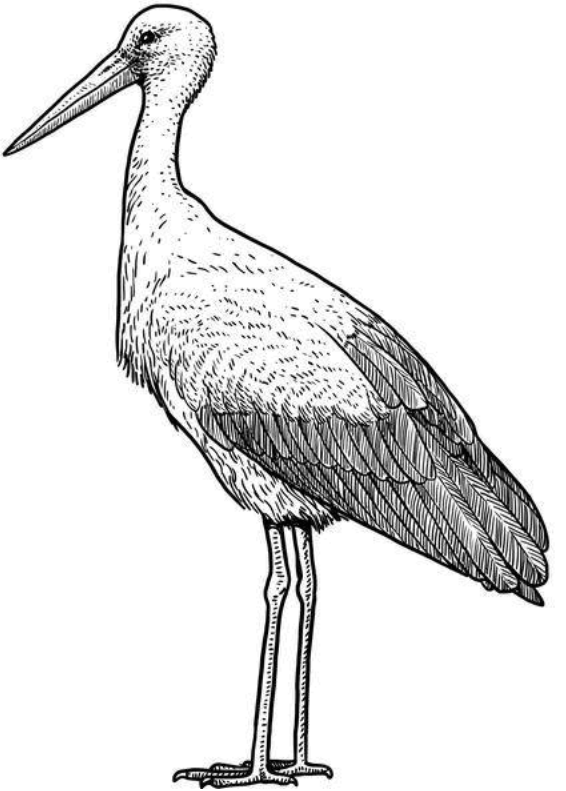
Буквам очень надоело
В толстых книжках спать да спать…
В полночь – кучей угорелой
Слезли с полки на кровать.
А с кровати – на пол сразу,
Посмотрели – люди спят –
И затеяли проказу,
Превесёлый маскарад.
А – стал аистом, Ц – цаплей,
Е – ежом… Прекрасный бал!
Я не спал и всё до капли
Подсмотрел и записал…
Утром в дверь стучит художник
(Толстый, с чёрной бородой,
И румяный, как пирожник) —
Это был приятель мой.
Прочитал он, взял бумагу,
Вынул семь карандашей
И сейчас же всю ватагу

Срисовал для малышей.

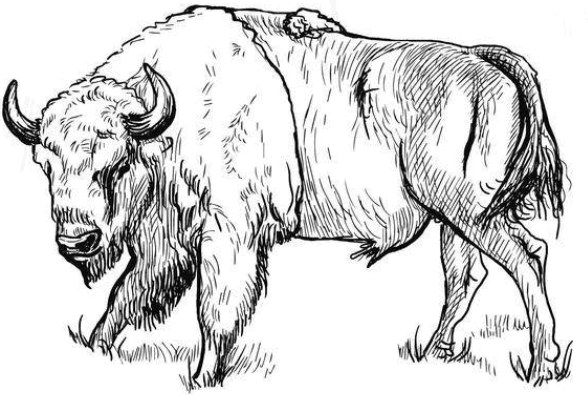
А



АСТРА в садике цветет —
АИСТ, вам пора в поход!



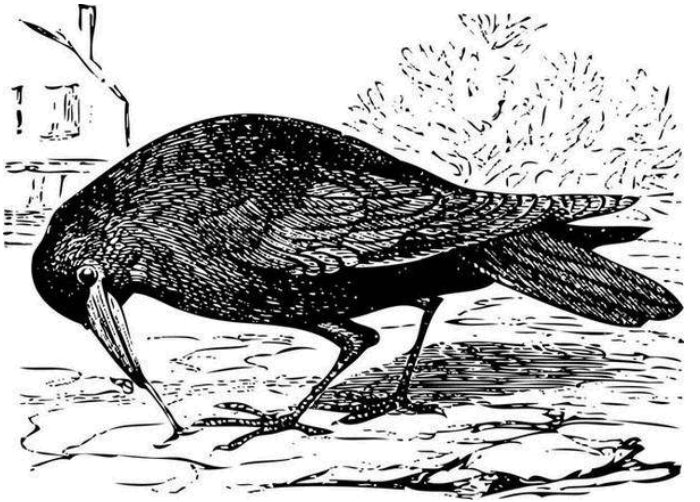
Б



БЫК весь день мычит и ест.
БЕЛКА держит хвост, как шест.



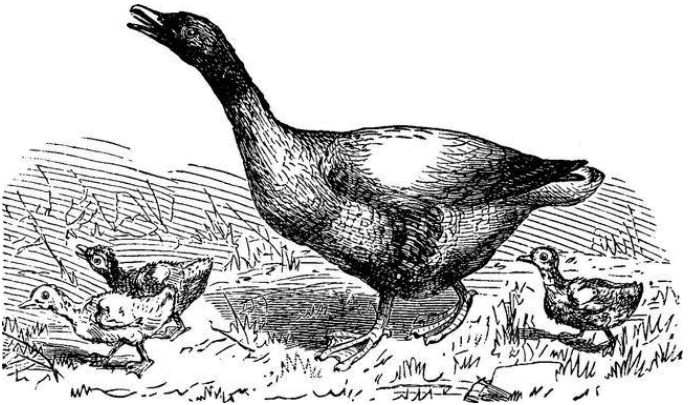
B



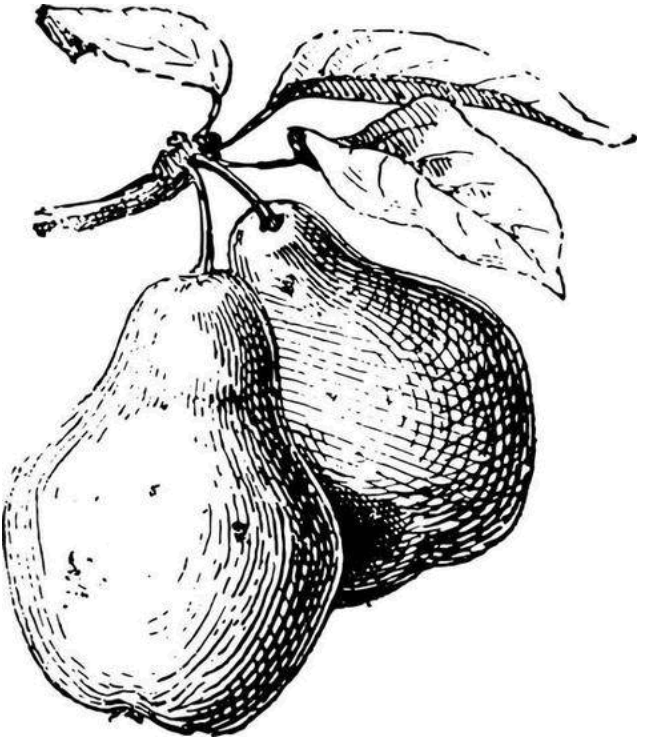
ВОРОН может жить сто лет.
ВОЛК овце – плохой сосед.



Г



ГУСЬ шагает, как солдат.
ГРУША зреет – Гриша рад.



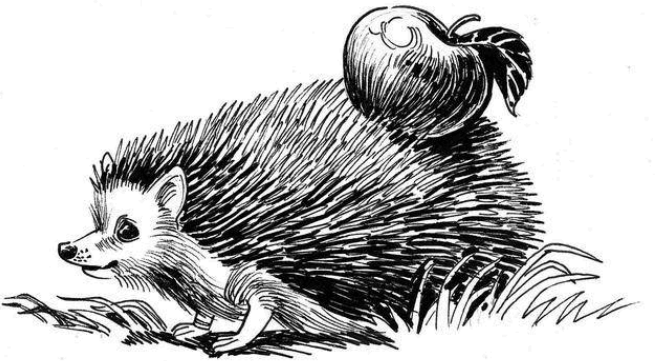
Д



ДЯТЕЛ в дуб всё тук да тук…
ДУБ скрипит: «Что там за стук?»



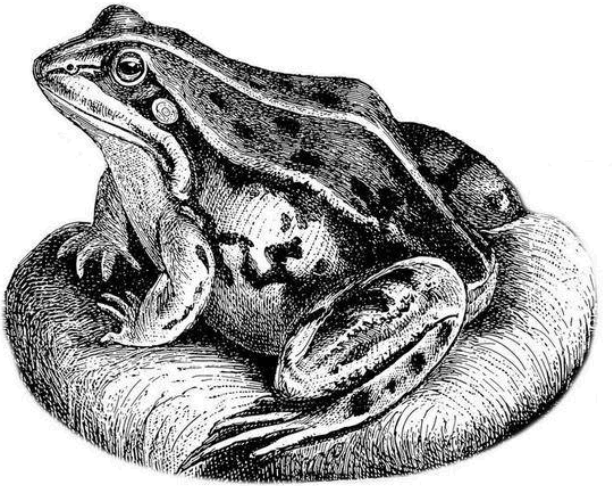
E Ë



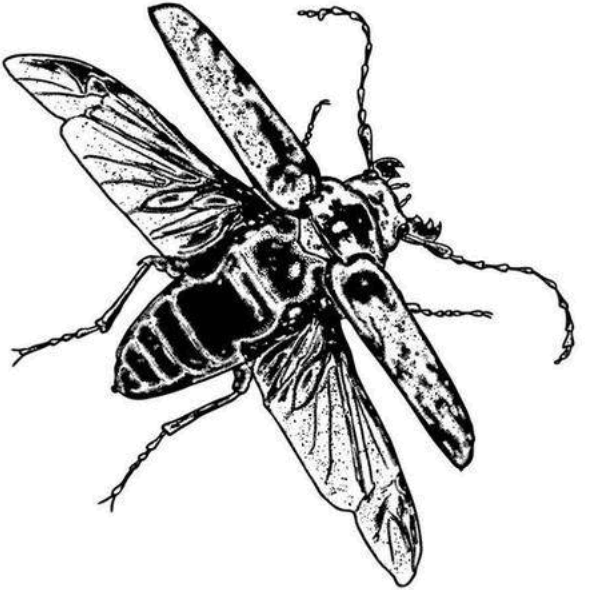
Ёж под ёлкой удивлен:
ЁЛКА с иглами – и он.



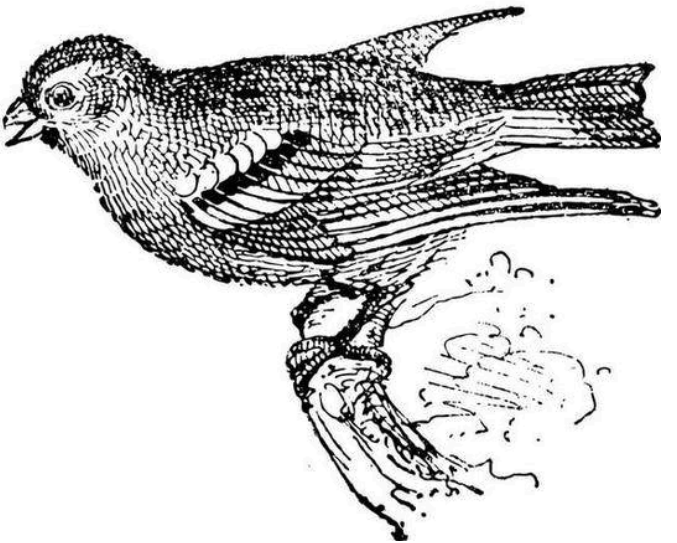
Ж



ЖАБА ждёт, раздув живот, —
ЖУК летит ей прямо в рот.



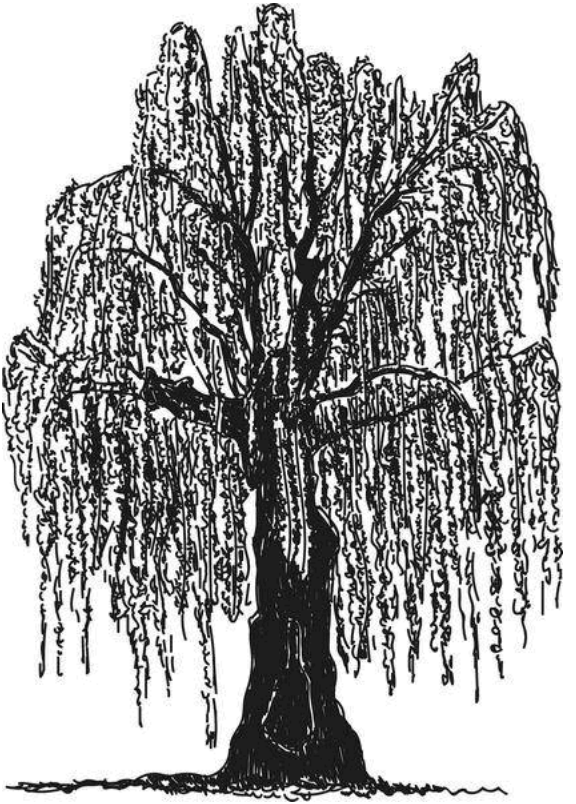
3



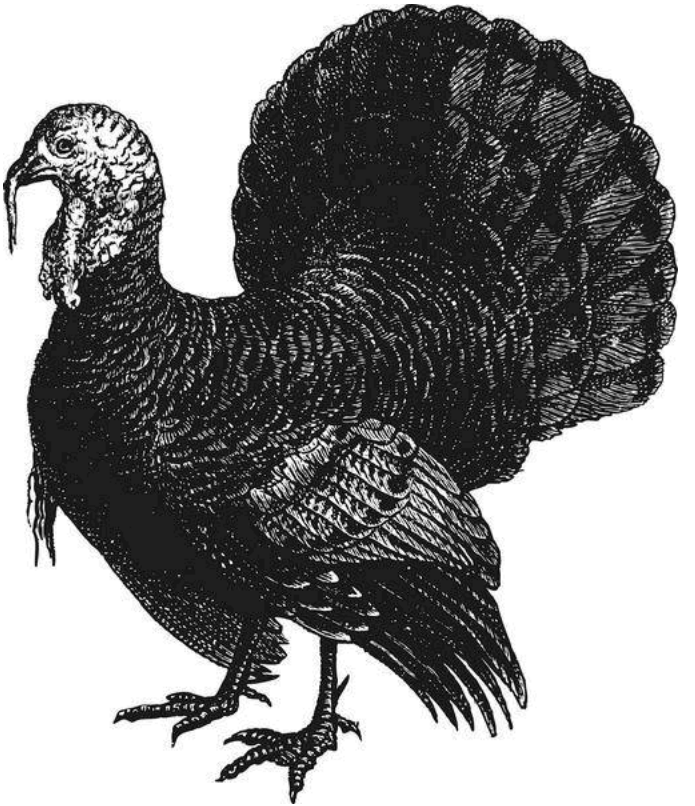
ЗЯБЛИК в роще засвистал,
ЗАЯЦ струсил и удрал.



И



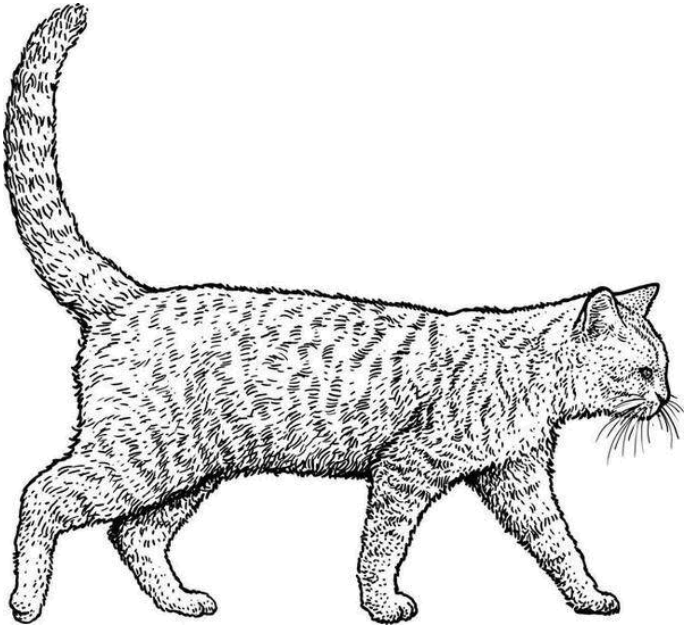
ИВА клонит ветви в пруд.
ИНДЮКИ всегда орут.



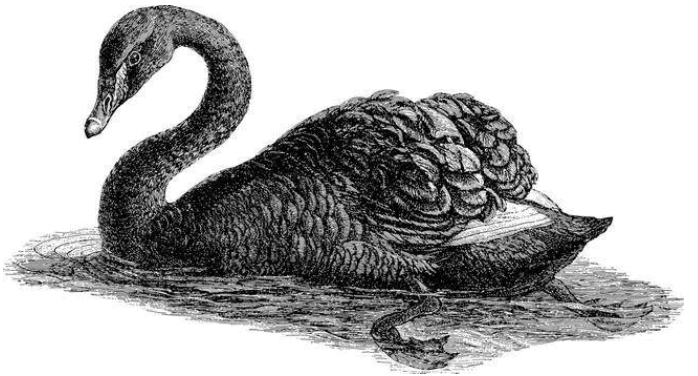
K



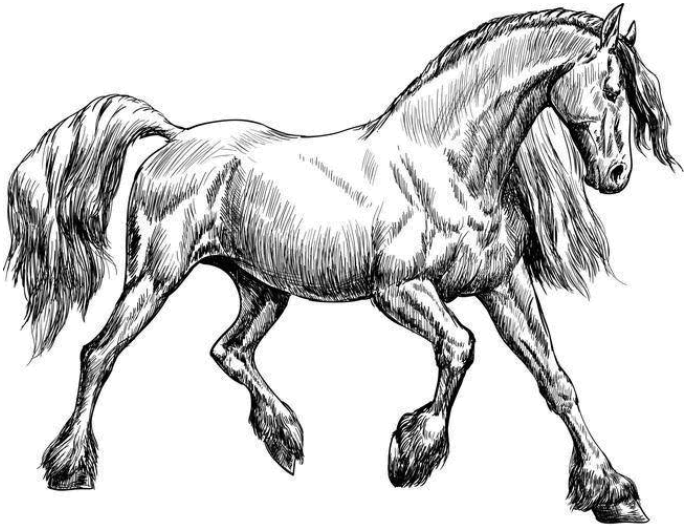
КРЫСА мчится через мост.
КОТ за ней, задравши хвост.



Л



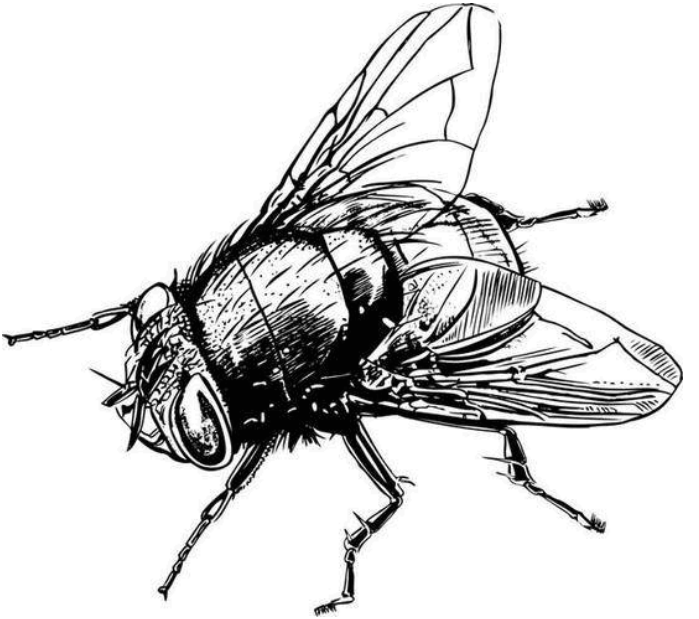
ЛЕБЕДЬ родственник гуся,
ЛОШАДЬ – зебре, лещ – ершам.



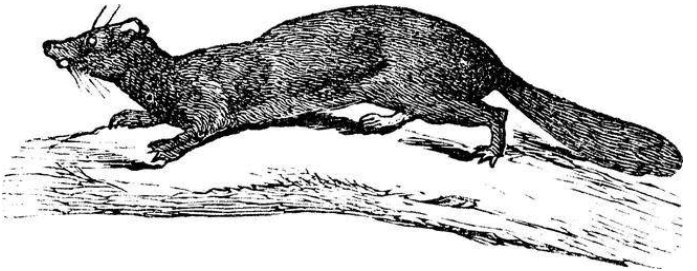
M



МЫШЬ глядит на потолок:
«МУХА, свалишься, дружок!»



H



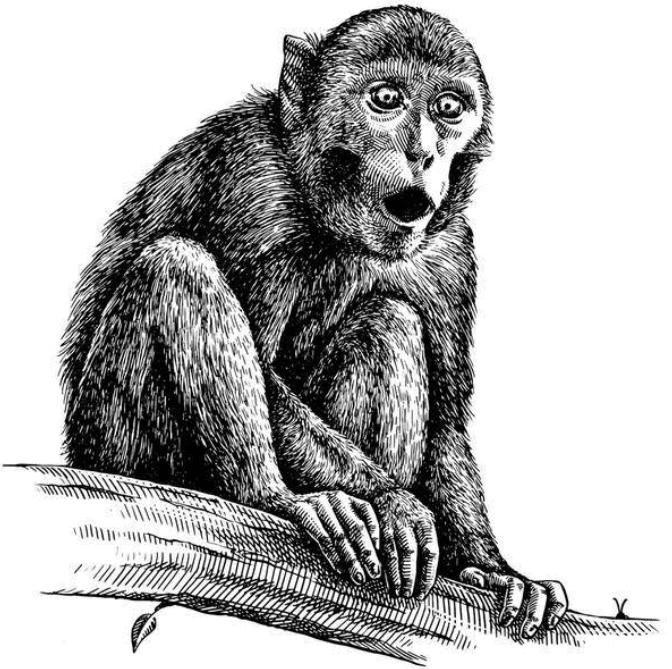
НОРКА ловит рыб в волне.
НОСОРОГ храпит во сне.



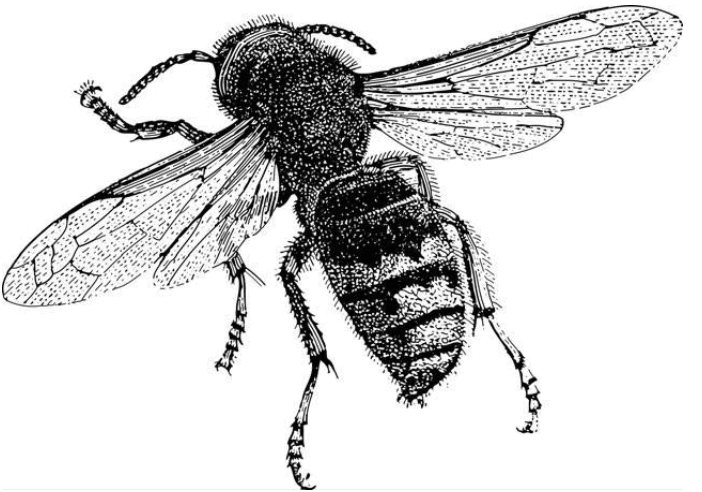
O



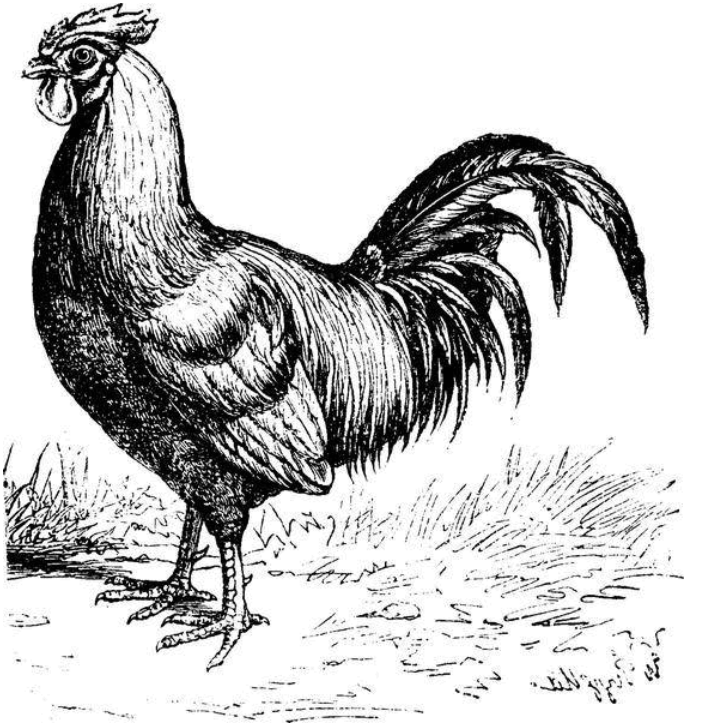
ОСЛИК влез в чертополох.
ОБЕЗЬЯНКИ ищут блох.



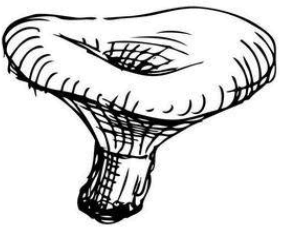
П

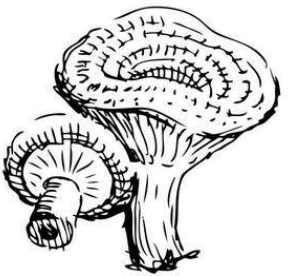


ПЧЁЛКА трудится весь день,
ПЕТУШКУ и клюнуть лень.

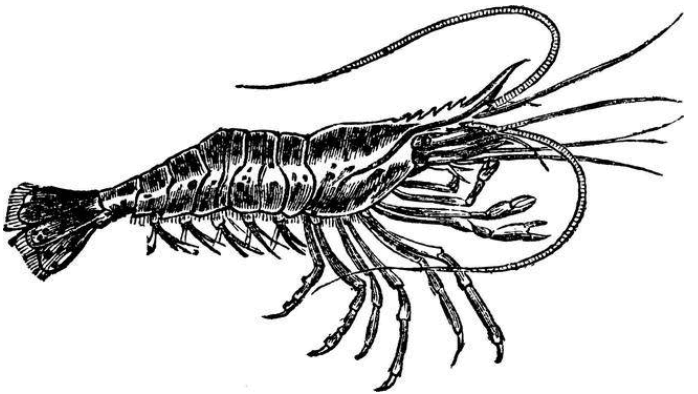


P

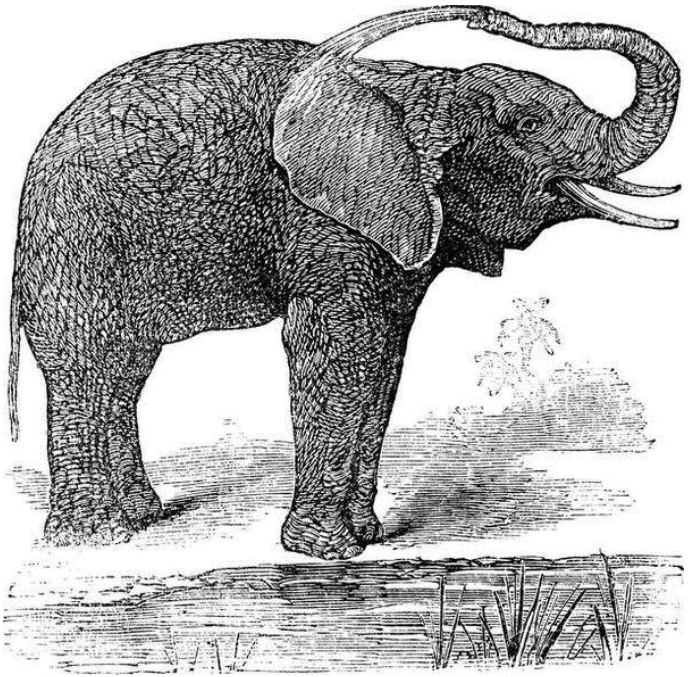




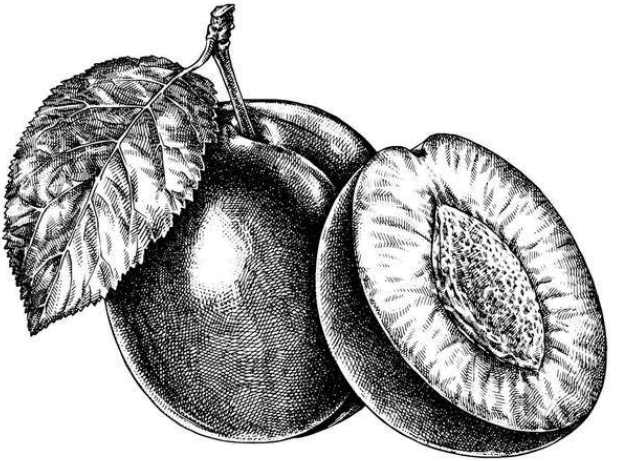
РЫЖИК прячет в мох колпак.
РАК был негр, а стал, как мак.



C



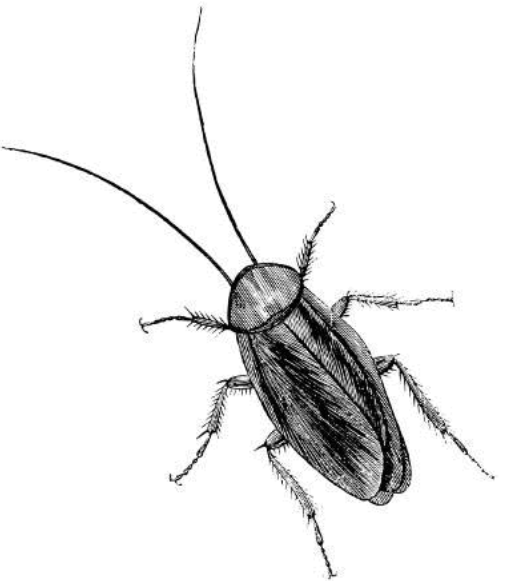
СЛОН ужасно заболел —
СЛИВУ с косточкою съел.



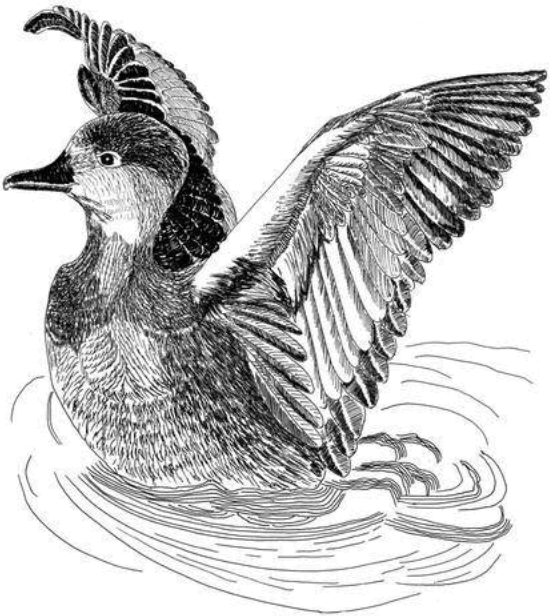
T



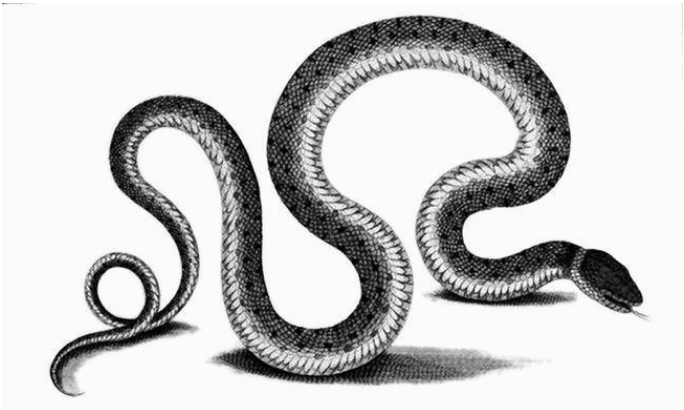
ТИГР свирепей всех зверей,
ТАРАКАН же всех добрей.



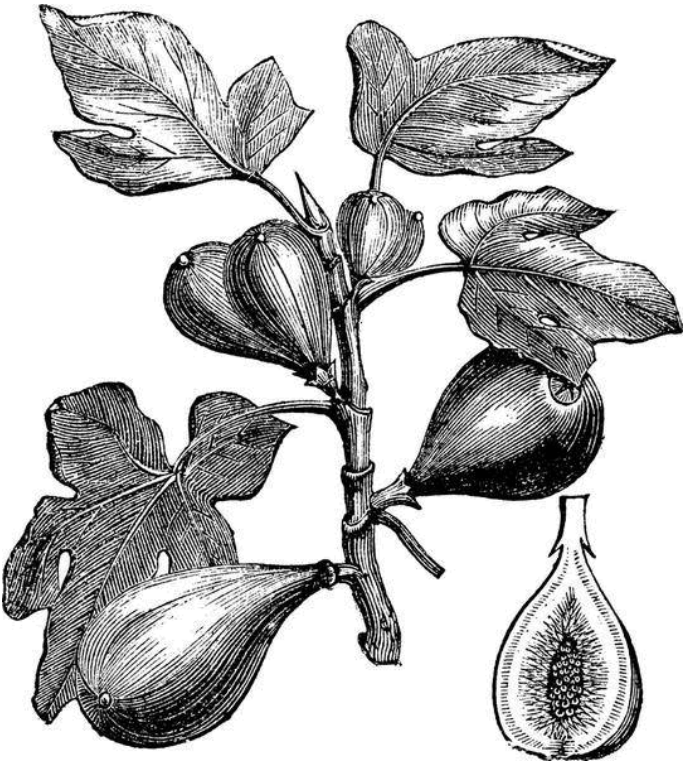
y



УТКА – опытный нырок.
УЖИК любит холодок.



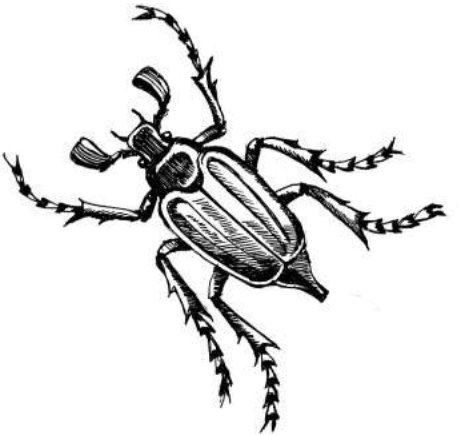
Ф



ФИГИ сладки, как желе.
ФИЛИН днём сидит в дупле.



Х



ХРУЩ – весёлый майский жук.
ХМЕЛЬ ползёт на шест без рук.



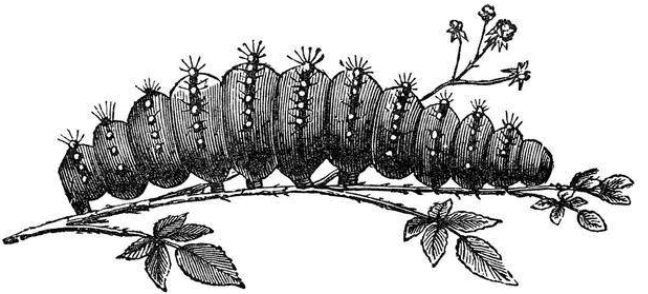
Ц



ЦЫПКА вышла из яйца.
ЦАПЛЯ спит у деревца.



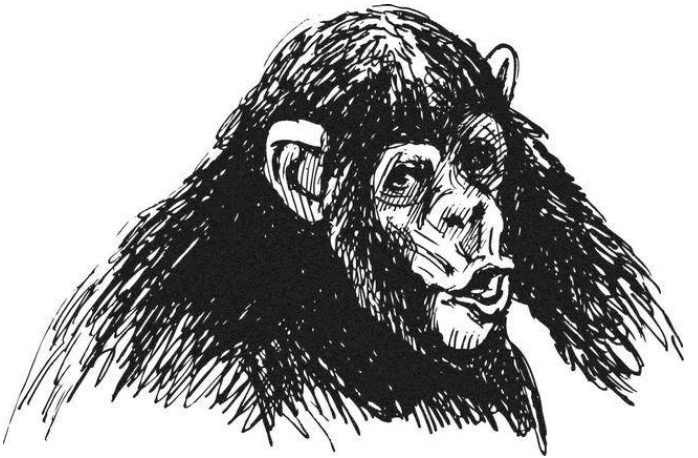
ч



ЧЕРВЯЧОК влез на цветок,
ЧИЖ слетел – и клюнул в бок!



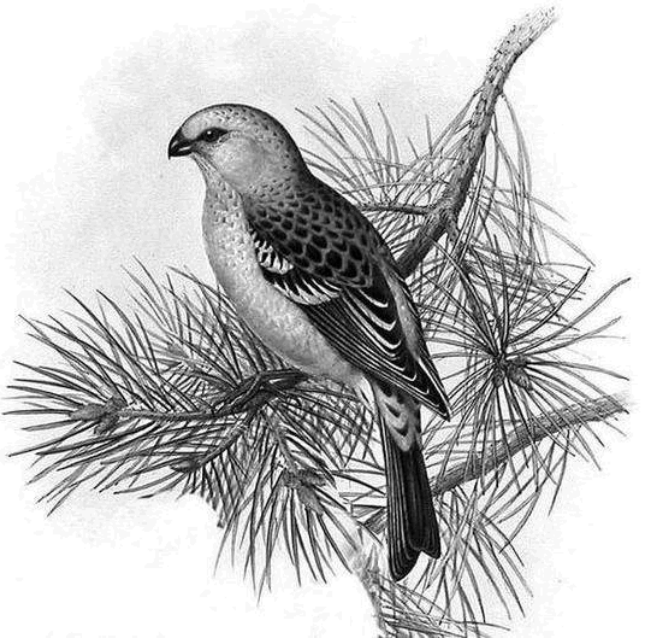
III



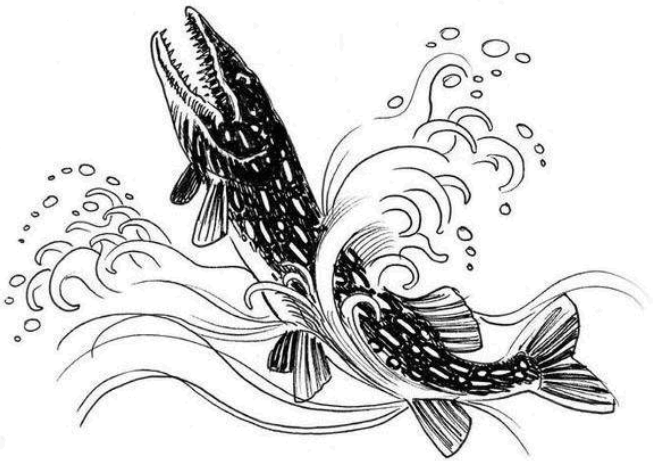
ШИМПАНЗЕ грызёт бисквит.
ШПИЦ от зависти дрожит.



Щ



ЩУР ест пчёл по сотне в день.
ЩУКА-злюка скрылась в тень.



э



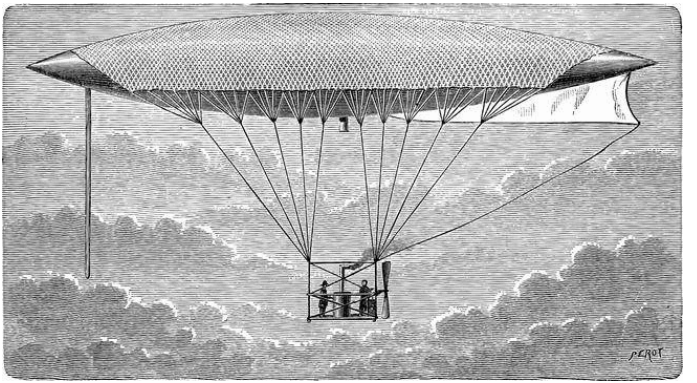
ЭФИОПЫ варят суп.
ЭСКИМОС зашит в пять шуб.



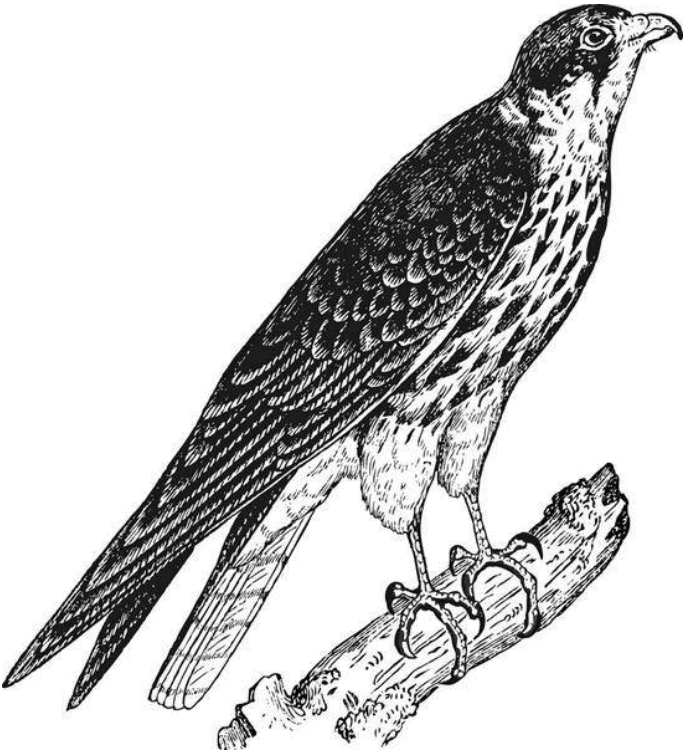
Ю



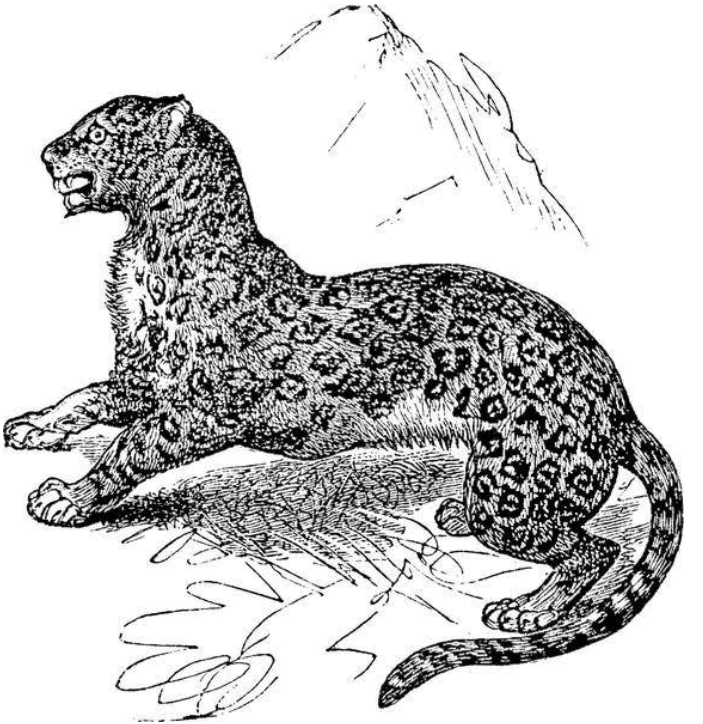
ЮНГА моет свой корабль.
ЮРА клеит дирижабль.



Я



ЯСТРЕБ – ловкий птицелов.
ЯГУАР – гроза лесов.



Ъ, Ь

Твёрдый знак и мягкий знак,

Ы *и* ***Ять*** *– остались так.*

Стихотворения

Приставалка

– Отчего у мамочки
На щеках две ямочки?
– Отчего у кошки
Вместо ручек ножки?
– Отчего шоколадки
Не растут на кроватке?
– Отчего у няни
Волоса в сметане?
– Отчего у птичек
Нет рукавичек?
– Отчего лягушки
Спят без подушки?..

«Оттого, что у моего сыночка
Рот без замочка».

<1912>

На коньках

Мчусь, как ветер, на коньках
Вдоль лесной опушки…
Рукавицы на руках,
Шапка на макушке…
Раз-два! Вот и поскользнулся…
Раз и два! Чуть не кувыркнулся..
Раз-два! Крепче на носках!

Захрустел, закрякал лед,
Ветер дует справа.
Ёлки-волки! Полный ход —
Из пруда в канаву…
Раз-два! По скользкой дорожке…
Раз и два! Весёлые ножки…
Раз-два! Вперёд и вперёд…

<1913>

Перед сном

Каждый вечер перед сном
Прячу голову в подушку:
Из подушки лезет гном
И везёт на тачке хрюшку,
А за хрюшкою дракон,
Длинный, словно макарона…
За драконом – красный слон,
На слоне сидит ворона,
На вороне – стрекоза,
На стрекозке – тетя Даша…
Чуть прижму рукой глаза —
И сейчас же все запляшут!
Искры прыгают снопом,
Колесом летят ракеты,
Я смотрю, лежу ничком
И тихонько ем конфеты.
Сердцу жарко, нос горит,
По ногам бегут мурашки,
Тьма кругом, как страшный кит,

Подбирается к рубашке…
Тише мышки я тогда.
Зашуршишь – и будет баня:
Няня хитрая, – беда.
Всё подсмотрит эта няня!
«Спи, вот встану, погоди!»
Даст щелчка по одеялу,
А ослушаешься – жди
И нашлепает, пожалуй!

<1911>

В огороде

В огороде целый день
Мы сегодня полем грядки,
А за нами, словно тень,
Ходят пёстрые цыплятки.

Полем сразу в восемь рук:
Я и Петя, Фрол и Даша…
Ишь как чист усатый лук!
Это всё работа наша.

И морковка чище сот…
Обожгло крапивой пятки.
Ну, до свадьбы заживёт!
Эй, петух, долой-ка с грядки!

Свёклу кончили. Ура!
Подвязать горох бы нужно.
Поливайте, детвора:
По порядку! Дружно, дружно!

Петя важно морщит лоб
И с ведром шагает гусем.

Руки вымоем – и стоп:
Хлеба с солью перекусим.

<1920>

Галчата

На заборе снег мохнатый толстой
грядочкой лежит.
Налетели вмиг галчата… Ух, какой
серьёзный вид!

Ходят боком вдоль забора, головёнки
изогнув,
И друг дружку скоро-скоро клювом ца-
пают за клюв.
Что вы ссоритесь, пичужки? Мало ль
места вам кругом —
На берёзовой макушке, на крыльце
и под крыльцом.

Эх, когда б я сам был галкой —
через форточку б махнул
И весёлою нырялкой в синем небе
потонул…

<1920>

Мартышка

«Отчего ты, мартышка, грустна
И прижала к решетке головку?
Может быть, ты больна?
Хочешь сладкую скушать морковку?»

«Я грустна оттого,
Что сижу я, как пленница, в клетке.
Ни подруг, ни родных – никого,
Ни зелёной развесистой ветки…

В африканских лесах я жила,
В тёплых, солнечных странах;
Целый день, как юла,
Я качалась на гибких лианах…

И подруги мои —
Стаи вечно весёлых мартышек —
Коротали беспечные дни
Средь раскидистых пальмовых вышек.

Каждый камень мне был там знаком,
Мы ходили гурьбой к водопою,

В бегемотов бросали песком
И слонов обливали водою…

Здесь и холод и грязь,
Злые люди и крепкие дверцы…
Целый день, и тоскуя и злясь,
Свой тюфяк прижимаю я к сердцу.

Люди в ноздри пускают мне дым,
Тычут палкой, хохочут нахально…
Что я сделала им?
Я – кротка и печальна.

Ты добрей их, ты дал мне морковь,
Дал мне свежую воду, —
Отодвинь у решётки засов,
Отпусти на свободу…»

«Бедный зверь мой, куда ты уйдёшь?
Там, на улице, ветер и вьюга.
В переулке в сугробе заснёшь,
Не увидев горячего юга…

Потерпи до весны лишь, – я сам
Выкуп дам за тебя – и уедем
К африканским весёлым лесам,

К чернокожим соседям.

. . . . . .

А пока ты укройся теплей
И усни. Пусть во сне хоть приснится
Ширь родных кукурузных полей
И мартышек весёлые лица...»

1920

Скрут

«Кто живёт под потолком?»

– Гном.

«У него есть борода?»

– Да.

«И манишка и жилет?»

– Нет.

«Как встаёт он по утрам?»

– Сам.

«Кто с ним утром кофе пьёт?»

– Кот.

«И давно он там живёт?»

– Год.

«Кто с ним бегает вдоль крыш?»

– Мышь.

«Ну а как его зовут?»

– Скрут.

«Он капризничает, да?»

– Ни-ког-да!..

<1920>

Сверчок

Что поёт сверчок за печкой?
«Тири-тири, надо спать!»
Месяц выбелил крылечко,
Сон взобрался на кровать…
Он в лицо Катюше дышит:
«Ты, коза, – закрой глаза!»
Катя слышит и не слышит.
За окном шуршит лоза.
Кто там бродит возле дома?
Мишка с липовой ногой,
Дочка сна, колдунья-дрёма?
Чёрт ли с Бабою-ягой?
Ветер просит за трубою:
«Ты! Мне холодно! Пусти!..»
Это что ещё такое?
В лес на мельницу лети…
Катя ждёт, поджав коленки.
Тишина… И вот опять
Друг-сверчок запел со стенки:

«Тири-тири… надо спать!»

<1920>

Черника

Над болотцем проносится вздох, —
Это ахнула сонная жаба.
Изумрудный в звёздочках мох…
На полянке – с лукошком баба.
Проглядела, не видит, прошла:
Россыпь рыжиков дремлет под ёлкой
Под стволом паутинная мгла
И шатёр островерхий и колкий.

Стебельки пронизали весь мох.
Средь малиновых капель гвоздики,
В светлых листьях, как сизый горох,
Чуть колышутся гроздья черники.

Не вставай, не сгибайся… Лежи:
За охапкой притянешь охапку…
Возле вала, у старой межи,
Наберёшь ты полную шапку.

И на дачу лениво придёшь.
Молоко на коленях в тарелке.

Льются ягоды… Лёгкая дрожь.
Пересыплешь их сахаром мелким.

Холодок на зубах и в душе,
Сладкий запах лесного затишья.
За калиткой, в густом камыше,
Шелестящая жалоба мышья.

Ложка в сонной ладони замрёт.
За стволами – крестьянские срубы…
И бесцельно на ласточкин лёт
Улыбаются синие губы.

<1929>

Городские чудеса
1. Пчела

Перед цветочной лавкой на доске
Из луковицы бурой и тугой
Вознёсся гиацинт:
Лиловая душа,
Кадящая дурманным ароматом…
Господь весной ей повелел цвести,
Вздыматься хрупко-матовым барашком.

Смотри:
Над гиацинтом вьётся
Пушистая пчела…
То в чащу завитков зароет тельце —
Дрожит, сбирает дань.
То вновь взлетит
И чертит круг за кругом.

Откуда ты, немая хлопотунья?
Где улей твой?
Как в лабиринт многоэтажный

Влетела ты, крылатая сестра?
Куда свой сладкий груз
Снесёшь под гул автомобилей
и трамваев?
Молчит. Хлопочет.
И вдруг взвилась – всё выше, выше —
До вывески «бандажной мастерской»…
И скрылась.

2. Обезьянка

Косою сеткой бьёт крупа.
По ярмарке среди бульвара
За парой пара
Снуёт толпа.
Строй грязных клеток,
Полотнища шатров,
Собачий визг рулеток,
Нуга – будильник – и пузыри шаров.

У будки прорицателя – шарманка:
Визжит, сзывает, клянчит…
Худая обезьянка,

Сгорбив спинку,
Качает-нянчит,
Зажавши книзу головой,
Морскую свинку.
Так нуден сиплый вой!
Качает-греет…
Гладит лапкой
Чужого ей зверька,
А он, раздув бока,
Повис мохнатой тряпкой,
Тупой и сонный.
И опять
Она к нему влюблённо
Склоняется, как мать.
Качает, нежит…
Застыл маляр худой
С кистями за плечами,
И угольщик седой, —
Глаза переливаются лучами…
Склонился лавочник к жене,
И даже бравые солдаты —
Взвод краснощёкой деревенщины —

Притихли в стороне.
Шарманка ржёт…
Вздыхают женщины:
Кто лучше их поймёт?

Апрель 1929
Париж

В Булонском лесу

Там, за последней виллой,
Вдоль глинистого рва
Светло-зелёной силой
Вздымается трава…

Весенним изумрудом
Омолодила пни,
Упавший ствол верблюдом
Раскинулся в тени.

Кольцо берёзок кротких
Под облаком седым
Роняет с веток чётких
Зеленокудрый дым.
Мальчишка влез на липку —
Качается, свистя…
Спасибо за улыбку,
Французское дитя!

«Слезай-ка, брось свой мячик,
Мой фокс совсем не злой, —

Быстрее всех собачек
Помчится он стрелой...»

И вот они уж вместе —
И зверь, и мальчик-гном.
Жестянка мокрой жести
Сверкнула под кустом.

Ну что ж, здесь были люди,
А людям надо есть.
В зелёном этом чуде
Пускай цветёт и жесть...

Вверху клубки амелы
Как шапки сизых гнёзд,
Под бузиной замшелой
Хлопочет чёрный дрозд.

С дороги у изгиба
Моторный рявкнул бас...
Спасибо, лес, спасибо
За этот добрый час.

1930

На крыльце

В колодец гулко шлёпнулась бадья,
Склонилась баба, лихо вздёрнув пятку;
Над дубом стынет лунная ладья,
Тускнея радужно сквозь облачную грядку.
Туманным пологом окутаны поля,
Блеснул костёр косым огнём у рощи.
За срубом зашипела конопля,
Нет в мире песни ласковей и проще…
Лень-матушка, а не пора ль соснуть?
Солома хрустнет под тугой холстиной,
В оконце хлынет сонный Млечный Путь.
У изголовья – чай с лесной малиной…
Но не уйти: с лугов – медвяный дух,
И ленты ивы над крыльцом нависли.
И там, в избе, – стокрылый рокот мух,

И духота, и городские мысли…
Нахмуренный, в рубахе пузырём,
Прошёл кузнец, как домовой, лохматый,
И из больницы, в ботах, с фонарём,
Старушка докторша бредёт тропой покатой.
Я гостье рад. В пустыне средь села
Так крепким дорожишь рукопожатьем…
Ты, горечь старая, тяжёлая смола,
Каким тебя заговорить заклятьем?

1930

У Сены

В переулок – к бурлящей Сене,
Где вода, клокоча, омывает ступени,
Заливая берег пологий, —
Всё приходят люди в тревоге:
Рабочий хмурый,
Конторщик понурый,
Озябший старик с ребёнком,
Девушка с рыжим котёнком…
Слушают грозный гул
Воды, встающей горбом у лапы моста.
У откоса последняя грива куста
Опрокинулась в мутный разгул…
К берегу жмётся мёртвый буксир,
Брёвна несутся в лоснящейся мгле перевалов…
Дойдёт ли вода до подвалов?
Хлынет ли в окна мирных квартир?
Поправив пенсне, какой-то седой господин

Отметил мелом на стенке грань колыхания…

Ты, мутное лоно грядущих годин!

Мел мой в руке – но черта роковая

в тумане.

<1930>

Ночные ламентации

Ночь идёт. Часы над полкой
Миг за мигом гонят в вечность.
За окном бормочет ветер,
Безответственный дурак…
Хоть бы дьявол из камина
В этот час пустынный вылез, —
Чем гонять над Сеной тучи,
Головой ныряя в мрак…
Я б ему, бродяге злому,
Звонко «Демона» прочёл бы —
И зрачки б его сверкали,
Как зарницы, из-под век.
Нет – так нет. Паркет да стены,
Посреди коробки тесной,
Словно ёрш на сковородке,
Обалдевший человек…
Перед пёстрой книжной полкой
Всё качаешься и смотришь:
Чью бы тень из склепа вызвать

В этот поздний мутный час?
Гейне – Герцена – Шекспира?
Но они уж всё сказали
И ни слова, ни полслова
Не ответят мне сейчас.
Что ж в чужой тоске купаться?
И своя дошла до горла…
Лучше взять кота под мышку
И по комнате шагать.
Счастлив ты, ворчун бездумный,
Мир твой крохотный уютен:
Ночью – джунгли коридора,
Днём – пушистая кровать.
Никогда у лукоморья
Не кружись, толстяк, вкруг дуба, —
Эти сказки и баллады
До добра не доведут…
Вдруг очнёшься: глушь и холод,
Цепь на шее всё короче,
И вокруг кольцом собаки…
Чуть споткнешься – и капут.

<1931>

На току

По овсяным снопам
Возит мул допотопный каток,
Свесил голову вбок,
Подбирает колосья к зубам.
Шелестит карусель…
Напрягает все мускулы мул,
Раздувает бока,
А хозяин уселся под ель,
Трубку в зубы воткнул
И дымит в облака.
Ходит мул без конца…
И бормочет, и фыркает в нос:
«Надо в поте лица
Добывать свой насущный овёс!»
А за толстым гранитным катком
Ходят гуси гуськом
И, шипя и косясь на бревно,
Не трудясь, подбирают зерно.

Слышишь, веялка мерно пыхтит?

Пыль из устья раструбом летит.
Русский запах овса – благодать!
Ты вертись, ты вертись, рукоять…
Раздобрели мешки,
Как поповны, толсты-широки…
Напрягая хребет меж колёс,
Мул в сарай на двуколке их свёз.

Плавно вздулось бельё на лугу.
На току – ни души,
Только голуби бродят в кругу.
На овсяном стогу
Человек разметался в тиши…
Жук в соломе шуршит у волос,
Над глазами – метёлкой овёс.
Гаснет в небе коралловый пыл,
Аметистом пронизана даль,
И над бором – родная печаль —
Левитановский месяц застыл.

1928
Пюжет

Собачий парикмахер

В огромном городе так трудно разыскать
Клочок романтики – глазам усталым
отдых:
У мутной Сены,
Вдоль стены щербатой,
Где мост последней аркою круглится, —
Навес, скамья и стол.
Старик с лицом поэта,
Склонившись к пуделю, стрижет бугром
руно.
Так благородно-плавны жесты рук,
Так благостны глаза,
Что кажется: а не нашёл ли он
Призвание, чудеснейшее в мире?
И пёс, подлец, доволен, —
Сам подставляет бок,

Завёл зрачок и кисточкою машет…
В жару кудлатым лешим
Слоняться не легко,
И быть красавцем – лестно;
Он умница, он это понимает.
Готово!
Клиент как встрёпанный вскочил —
и на́земь.
Ты, лев собачий! Хитрый Дон-Жуан
С седою эспаньолкою на морде…
Сквозь рубчатую шерсть чуть розовеет
кожа,
Над шеей муфта пышною волной, —
Хозяин пуделя любовно оглядел
И, словно заколдованного принца,
Уводит на цепочке.
С балкона кошка щурится с презреньем…
А парикмахер положил на стол
Болонку старую, собачью полудеву,
Распластанную гусеницу в лохмах…

Сверкнули ножницы, рокочет в Сене вал,
В очках смеётся солнце.

Пришла жена с эмалевым судком,
Увядшая и тихая подруга.
Смахнула шерсть с собачьего стола,
Газету распластала…
Три тона расцветили мглу навеса:
Бледно-зелёный, алый и янтарный —
Салат, томаты, хлеб.
Друг другу старики передают
С изысканностью чинной
То нож, то соль…
Молчат, – давно наговорились.
И только кроткие глаза
Не отрываясь смотрят вдаль
На облака – седые корабли,
Плывущие над грязными домами:
Из люков голубых
Сквозь клочья пара
Их прошлое, волнуясь, выплывает.
Я, прохожий,

Смотрю на них с зелёного откоса
Сквозь переплёт бурьяна
И тоже вспоминаю:
Там, у себя на родине, когда-то
Читал о них я в повести старинной, —
Их «старосветскими помещиками» звали…
Пускай не их – других, но символ тот же,
И те же выцветшие добрые глаза,
И та же ясная внимательность друг к другу, —
Два старых сердца, спаянных навеки.

Как этот старый человек,
С таким лицом, значительным и тонким,
Стал стричь собак?
Или в огромной жизни
Занятия другого не нашлось?
Или рулетка злая
Подсовывает нам то тот, то этот жребий,

О вкусах наших вовсе не справляясь?
Не знаю...
Но горечи в глазах у старика
Я, соглядатай тайный, не приметил...
Быть может, в древности он был бы мудрецом,
В углу на площади сидел, лохматый, в бочке
И говорил глупцам прохожим правду
За горсть бобов...
Но современность зла:
Свободных бочек нет,
Сограждане идут своей дорогой,
Бобы подорожали, —
Псы обрастают шерстью,
И надо же кому-нибудь их стричь.
Вот пообедали. Стол пуст, свободны руки.
Подходит девушка с китайским вурдалаком,
И надо с ней договориться толком,
Как тварь любимую по моде окор-

нать...

1930

В угловом бистро
1. Каменщики

Ноги грузные расставивши упрямо,
Каменщики в угловом бистро сидят, —
Локти широко упёрлись в мрамор…
Пьют, беседуют и медленно едят.

На щеках – насечкою известка,
Отдыхают руки и бока.
Трубку тёмную зажав в ладони жёсткой,
Крайний смотрит вдаль, на облака.
Из-за стойки розовая тётка
С ними шутит, сдвинув вина в масть…
Пёс хозяйский подошёл к ним кротко,
Положил на столик волчью пасть.

Дремлют плечи, пальцы —
на бокале.
Усмехнулись, чокнулись втроём.
Никогда мы так не отдыхали,
Никогда мы так не отдохнём…

Словно житель Марса, наблюдаю
С завистью беззлобной из угла:
Нет пути нам к их простому раю,
А ведь вот он – рядом, у стола…

2. Чуткая душа

Сизо-дымчатый кот,
Равнодушно-ленивый скот,
Толстая муфта с глазами русалки,
Чинно и валко
Обошёл всех, знакомых ему до ногтей,
Обычных гостей…
Соблюдая старинный обычай
Кошачьих приличий,
Обнюхал все каблуки,
Гетры, штаны и носки,
Потёрся о все знакомые ноги…
И вдруг, свернувши с дороги,
Клубком по стене —
Спираль волнистых движений, —
Повернулся ко мне

И прыгнул ко мне на колени.

Я подумал в припадке амбиции:
Конечно, по интуиции
Животное это
Во мне узнало поэта…
Кот понял, что я одинок,
Как кит в океане,
Что я засел в уголок,
Скрестив усталые длани,
Потому что мне тяжко…
Кот нежно ткнулся в рубашку —
Хвост заходил, как лоза, —
И взглянул мне с тоскою в глаза…
«О друг мой! – склонясь над котом,
Шепнул я, краснея, —
Прости, что в душе я
Тебя обругал равнодушным скотом…»
Но кот, повернувши свой стан,
Вдруг мордой толкнулся в карман:
Там лежало полтавское сало в пакете.

Нет больше иллюзий на свете!

Библейские сказки

Отчего Моисей не улыбался, когда был маленький

Помнишь, как это было? Маленький Моисей (фунтов 20 тогда он весил, не больше) плыл по реке в корзине. В красивой тростниковой корзине, так хорошо пропитанной смолой, что ни одна любопытная капля воды не могла проскользнуть сквозь крепкое плетенье.

Внизу болтали между собой быстрые, весёлые струи, вверху улыбалось серебряное облако с золотой каймой, похожее на белого задремавшего кролика. Стрекозы перегоняли друг дружку и, пролетая над корзиной, удивлённо звенели: «зык! зы-зык!» Когда же это было видано, чтобы маленький мальчик плыл по реке в корзине?

А маленький Моисей лежал, смотрел круглыми глазками в небо и разговаривал сам с собой: «бля-вля-гля»… Разговаривал на том самом языке, на котором говорил и ты, когда лежал в люльке, задрав кверху круглые ножки, пуская пузыри и рассматривая собственный круглый пальчик. Не помнишь?

Вдали за кустами стояла мать маленького

Моисея, смотрела, раздвинув тростник, на колыхавшуюся вдали плетёную колыбель, и слёзы медленно капали одна за другой в весёлую воду…

«Чёрный лебедь!» — шепнула служанка дочери фараона, с которой она купалась в реке.

Но дочь фараона поднесла ладони к глазам и звонко рассмеялась: «Чёрный лебедь!.. А может быть, это бегемот приплыл с твоей родины, с верховьев Нила, чтобы тебя проведать… Разве ты не видишь? Это — корзинка!»…

Корзинка задела за чёрную корчагу, торчавшую из воды, закачалась на месте и медленно поплыла к берегу.

Ты думаешь, маленький Моисей стал плакать и вырываться, как это сделали бы мы с тобой, когда увидел склонённое над собой чёрное лицо эфиопки-служанки с толстыми, красными, как стручковый перец, губами и зубами, похожими на две полоски кокосового ореха? Совсем нет. Сразу попал он к ней на руки, от неё к другой, от другой к третьей (всем было интересно его посмотреть), пока не дошёл до ожидавшей на берегу дочери фараона, ласково прижавшейся щекой к тёплому детскому телу.

— Ах ты, малышка! Да как тебя крокодил не

съел? Тут за отмелью их целое семейство живёт… Ну теперь ты *мой*!

Быстро оделась дочь фараона и, осторожно прижимая мальчика к груди, стала, улыбаясь, его укачивать.

И мать, прятавшаяся за тростниками, видела всё это и, радостно вскрикнув, пошла домой, благословляя добрые руки весёлой царевны.

А потом? Что было делать дочери фараона с таким младенцем? Она велела найти ему кормилицу. И знаете, кому отдали его кормить? Матери, — так уж устроил Бог, потому что жалел мать и любил Моисея.

А потом вот что рассказывает об этом толстая книга, которую часто читает твой дедушка, надвинув на нос круглые очки в черепаховой оправе: «Вырос младенец, и привела его мать к дочери фараона, и он был у неё вместо сына и назвала она его Моисей, потому что говорила она, я его вынула из воды». Так написано в толстой книге…

Было ему тогда лет пять. Ни днём, ни ночью не расставалась с ним дочь фараона. Каталась с ним в лодке при луне под светлым колыхающимся балдахином, пела ему весёлые песни, хлопала в ладоши и звонко хохотала, — но Моисей не сме-

ялся, печально и молча смотрел на серебряную воду и тихо гладил пушистую обезьянку, которую подарила ему царевна. Большая обезьяна? Нет, маленькая, рыжая, в красном колпачке с золотой кисточкой.

Днём собирала царевна детей, быстроглазых и юрких. Кувыркались они на пестром ковре и, дразня друг друга, прятались в его широкие складки, — показывали, как ходит страус и как ложится верблюд, — и все служанки и царевна смеялись так, что колыхались широкие опахала, прислонённые к стене, — но Моисей печально и молча смотрел.

А когда дети уставали и садились вокруг него полукругом отдохнуть, он молча вставал, оделял их вкусными финиками и бананами (ух, как дети их быстро глотали!) и раздавал им нередко все свои игрушки. Сколько бы ему ни дарила царевна, всё раздавал: и ярко раскрашенных жуков и маленьких ручных черепах, покрытых бронзовой краской, и выдолбленные из дерева лодки с перламутровыми парусами…

Как-то пастухи поймали в поле и принесли во дворец в банке двух тарантулов. Большие такие пауки, с жёлтым брюшком и волосатыми лапами…

Никогда не видал? Слава Богу, что не видал! А поймали их так: пауки вылезли из своих ямок погреться на горячем песке, пастушонок подкрался, прикрыл их сверху глиняной миской, снизу подсунул пальмовый лист, перевернул — и готово!

Собрались дети. Один сквозь пузырь в банку сунул прутик, раздразнил пауков, — а те сцепились и давай друг другу лапы вывёртывать, жёлтыми животами трясут, челюстями воздух хватают. Тигры, а не пауки.

Хохочут дети, по ковру катаются. Дочь фараона легла сбоку, в банку дует из всех сил, пауков дразнит, а сама так и заливается. Весело.

И опять, как всегда, только маленький Моисей не смеялся. Мальчик молча сунул руку на дно банки, расцепил ядовитых тарантулов, понёс к колючим агавам, что росли у ограды сада, и посадил осторожно на песок. И ядовитые пауки не сделали ему зла, не укусили его, расправили лапы и быстро уползли в поле на свободу… Все видели.

Отпустила дочь фараона детей, отослала служанок, села на ковёр к Моисею и долго его гладила по теплой круглой головке.

Долго гладила и нежно прижала к себе и тихо спросила: «Моисей, мальчик мой! Отчего ты

такой?»

— Какой? — спросил мальчик и низко опустил голову к ковру.

— Отчего ты никогда не смеёшься с нами? Смотри: даже солнце улыбается, птицы звенят, радостно перекликаются в пышных кустах жасмина, рыбы в фонтане весело гуляют друг за другом… Один ты…

— Ты хочешь знать, отчего я не смеюсь? — Моисей быстро встал на ноги и, крепко взяв за руку дочь фараона, потянул её за собой. — Пойдёшь?

Тихонько вдоль стены довёл он её до пышнозатканной портьеры на кольцах и быстро раздвинул занавес…

За портьерой зашуршала одежда, раздался лёгкий вскрик, и дочь фараона увидала, как, склонив голову, быстро отошла к стене какая-то чужая, бедно одетая женщина.

— Кто это?

— Моя мать.

— Что она здесь делала?

— Она приходит, чтобы тайком смотреть на меня… когда я играю… — тихо ответил Моисей и, подняв низко опущенную голову, посмотрел на дочь фараона.

И не выдержала она печали ясных и глубоких

детских глаз и, закрыв лицо руками, быстро вышла из покоя.

Сказка о лысом пророке Елисее, о его медведице и о детях

«Когда пророк Елисей шёл дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним: идёт плешивый. Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребёнка».

Так говорит Библия.

А я думаю, что дело было не так. Не может быть, чтобы такой славный старик, как Елисей, из-за таких пустяков (ну, подразнили — эка важность) стал проклинать детей. И уж ни за что на свете не поверю, чтобы медведицы так жестоко расправились с детьми. Не их дразнили — им-то что. Да ещё будто они переловили столько ребятишек… Одного бы поймали, ну двух, — а остальные, как воробьи, рассыпались бы в разные стороны. Догони-ка.

Если ты будешь сидеть тихо и вынешь изо рта чернильный карандаш и перестанешь дёргать кошку за усы, я расскажу тебе, как это было.

Шёл пророк Елисей опушкой леса по делам в город Вефиль.

Жарко было, как в желудке у верблюда. Ящерицы, широко раскрыв рты, скрывались под прохладными камнями, птицы сонно покачивались на ветках и дремали — одни мухи не спали.

Так уж их Бог устроил: чем жарче, тем им веселей. И нельзя было от них укрыться нигде. Шляп тогда не носили, — Елисей и веткой отмахивался, и ладонью прикрывался, и головой дёргал, и стыдить их пробовал, — ничего не помогало. Лезут гурьбой на лысину, жужжат и щекочут, точно им и места другого на земле нет, кроме его лысины.

Пророк Елисей был очень добрый старик: все звери, и птицы, и букашки его обожали, и он всех любил. Но и самому доброму надоест, когда надо сто, двести, триста раз кричать «кыш» и махать руками.

А тут ещё из-за пригорка целая ватага детей высыпала… Разогрелись, расшалились, и вдруг такое удовольствие: лысый старик идёт.

Самый маленький даже рот раскрыл от радости и запел:

— Вон и-дёт пле-ши-вый… — и пошло.

Ну вот тут, когда мухи кусают в плешь, а пятьдесят ребятишек вокруг тебя приплясывают и сто-двести-триста раз кричат в уши:

— Вон идёт пле-ши-вый… — даже божья коров-

ка рассердится.

Покраснел Елисей как помидор, топнул ногой и крикнул так, что все ящерицы под камнями вздрогнули:

— Молчать. Да я вас всех. Цыц…

А детям только этого и надо: лысый старик рассердился. И ещё пуще все в один голос:

— Вон и-дёт пле-ши-вый.

Сунул Елисей два пальца в рот, свистнул. Прибежала из леса его любимая медведица, бурая, с чёрным блестящим носом, с чёрными блестящими глазками и ткнула головой Елисея в плечо: «Чего тебе». И шепнул ей Елисей на ухо:

— Пристают… Пугни их, да не очень…

Ну, медведица — дура, зверь большой, — где ей на цыпочках ходить. Стала на задние лапы, передними замахала, как ветряная мельница, и галопом на детей. Ух, что тут поднялось.

Один через другого, с визгом, с плачем, с криком, с воем, с писком, с рёвом, — пустились наутёк, — и бежали, не переводя дух, через луга и поля, пока не домчались до материнских коленей, — только там и отдышались. А самый маленький споткнулся о пень, полетел носом наземь, и глупая медведица не опомнилась, как с размаху на детской рубашонке большую прореху

прорвала. Только и всего.

Вернулся к закату пророк Елисей из Вефиля. Жар спал. Мухи забились под листья, кто куда, хоботками чуть-чуть шевелят — и не слышно их.

Проходит пророк мимо той же опушки и палкой весело размахивает. Нет детей… Точно их дождём смыло. Только из-за пригорка слышно, как всё тот же мальчик, который всю кашу заварил, пищит:

— Прячьтесь. Скорей прячьтесь. Лысый старик идёт.

Скучно стало Елисею. Любил он зверей и птиц, и букашек, а больше всего детей, дружбу с ними водил, сказки им в лесу рассказывал, — и вдруг такая история: дети его боятся… И совестно както. Ну, покричали, подразнили… Зачем же их таким страшным лесным зверем пугать.

Позвал Елисей — никто не откликается. Постоял на месте, вздохнул и пошёл к себе в пещеру спать.

Назавтра то же самое, — и день, и два, и три прошло, прячутся дети от Елисея, точно от медведицы. Чуть его завидят, словно сквозь землю проваливаются, — только и слышит за камнями то справа, то слева:

— Удирай. Удирай. Лысый старик идёт.

Пустился Елисей на хитрости, знал детское сердце. Смастерил из белых щепок мельницу-вертушку, укрепил на палке и привязал на опушке к толстой сосне. Далеко видно. А ветер подкрался из-за пригорка — дунул, закружил лёгкое колесо, завертел, — чудесная штука.

Стал Елисей за сосну, плешь бородой от мух прикрыл, догадался, и ждёт. И вот слышит: один подбирается, за ним другой, ещё и ещё, точно тихие червячки. Ближе, и ближе, и ближе, пока до самой сосны не дошли.

Выскочил пророк Елисей и только рот раскрыл, чтобы ласковое слово сказать, да куда там. Брызнули как зайцы назад, и мельницы не надо. Но старик другого и не ждал. Побежал наперерез к самому маленькому (который первый дразнился), давно он его высматривал — руками взмахнул, да так его в охапку и поймал, как жаворонка.

— Пусти…

— Не пущу… — пыхтит Елисей, а сам только смотрит, чтобы мальчишка его ногами по носу не задел.

— Пусти, тебе говорят.

Но старик догадался: вынул румяное яблоко, дал мальчику, а сам его по голове шершавой рукой гладит:

— Ешь. Ну, чего ты от меня бежал. Разве я страшный.

Видит мальчик, что ничего, — яблоко дал, медведицы нет, — откусил половину, сам вбок смотрит, сердитый такой мальчишка, глаза блестят, — и говорит:

— Ничуть не страшный. Злой, а не страшный.

— Почему же я злой, — усмехнулся Елисей, а сам второе яблоко показывает.

— А зачем ты на нас большую собаку выпустил.

— Медведицу… А зачем вы меня дразнили.

— А зачем ты лысый?

Рассмеялся пророк. В самом деле, зачем он лысый? Дети не виноваты.

Съел малыш яблоко и вздохнул.

— Дедушка, слушай!

— Что, милый?

— Ты маленьким был?

— Был.

— Ага, был!.. И никогда не дразнился? Ни разу, ты только правду говори, ни разу не дразнился?

Подумал Елисей и еще веселей улыбнулся:

— Дразнился! Ишь ты какая хитрая мартышка. Ну, давай мириться. Зови остальных… — а сам целый ворох яблок из-за пазухи высыпал.

— Идите сюда! — запищал самый маленький. — Он не тронет, он добрый! У него яблоки есть!

Сошлись дети под сосной. Медведица из лесу пришла, в землю носом ткнулась (ей тоже совестно было) и дикого мёду целый сот принесла. Вкусно с яблоками! А добрый пророк Елисей разгладил бороду, посадил своего приятеля, самого маленького мальчика, к себе на колени и начал рассказывать сказку.

Какую сказку? Такую сказку, что лучше и на свете нет…

Первый грех

На каком языке говорили в раю? Ты, верно, думаешь, что на русском… Я тоже так думал, когда был маленьким. Маленький француз, если спросишь его об этом, вынет палец изо рта и ответит: «Конечно, в раю говорили только по-французски!» Маленький немец не задумается: «По-немецки, как же иначе»… Но всё это не так.

В раю говорили на райском языке. Люди его сейчас позабыли, а звери, может быть, помнят, да и то не все. Чудесный это был язык: в нём совсем не было ни бранных, ни злых слов. Понимали его не только Адам и Ева и жившие с ними в раю крылатые духи, но и звери, и птицы, и бессловесные рыбы (даже рыбы!), и пчёлы, вечно перелетавшие с цветка на цветок, и качающиеся травы, и любая скромная ромашка, расцветавшая в тени райской ограды.

Вечерами травы шептали на лужайке под темнеющими пальмами:

— Тишина… Засыпаем…

— И мы… — отвечали, кивая тяжёлыми гроздьями, бананы.

— Спать! Спать! — гудели в воздухе райские

золотые шмели, слетаясь на ночлег в дупло трёхобхватного дуба, что рос у ручья возле тропинки к водопою.

— А где тут трава помягче? — бурчал неизменно каждый вечер грузный носорог, укладываясь среди колючего тростника на покой. Он тростник называл травой, и казался он ему мягче пуховой постели.

Звери даже во сне разговаривали. Мартышки визжали и хихикали — они видели только смешные сны; сонная рысь, облизывая свесившуюся с дерева лапу, тихонько урчала: «Ах, какой большой сладкий финик»… А бегемоты, выставив из тины похожие на чемоданы морды, зевали, смотрели спросонья на встающую малиновую луну и фыркали:

— Фу, какое сегодня мутное солнце…

И добрые все были, — удивительно. Комары никого не кусали, — что они ели, я не знаю, — но ни Адама, ни Еву, которые ходили без всякой одежды, ни один комар ни разу не укусил. Гиены не грызлись между собой, никого не задирали, сидели часами скромно под бананами и ждали, пока ветер не сбросит им тяжёлую душистую вязку с плодами. Львы облизывали всех, кто к ним ни подходил, даже скверно пахнущих ша-

калов, — ели траву, и так как наесться травой дело было не простое, то они, как быки и лошади, по целым дням не подымали морды от сочных стеблей, — а проворные белки, которым и минуту трудно усидеть на месте, играя друг с другом, бегали взапуски по львиным спинам, как по мягким диванам.

* * *

Однажды на лужайке перед закатом звери вздумали играть в свою любимую игру: в лестницу. В гимназии мы тоже играли когда-то в такую игру и называли ее «пирамидой», но звери такого мудрёного слова не знали.

Первым стал слон, скосил умные маленькие глаза в сторону и сказал в нос:

— А ну-ка!

Потом растопырил ноги, опустил голову, покачался и утвердился посреди лужайки твёрже скалы. На слона взобрался, отдуваясь от одышки и осторожно выпуская когти (чтоб слону не было больно), толстый тигр, на тигра взлезла горилла, на гориллу медведь, на медведя пантера, на пантеру рысь, на рысь мартышка, на мартышку белка, на белку крыса, а на крысу — мышь…

Играли в лестницу, как видишь, только та-

кие звери, которые умели лазить. Остальные расселись вокруг всей лужайки, смотрели и веселились.

И вот слон осторожно поднял одну ногу, переставил, — потом другую и пошёл вдоль всей лужайки, солидно и тихо, словно кадку с мороженым нёс на голове. Горилла ревела, рысь весело мяукала, крыса, задрав хвост, пищала, как вырвавшийся из хлева поросёнок, — и только мышонок на самом верху лестницы дрожал и крепко прижимался животом к крысе: у него кружилась голова.

Из зарослей кактусов на весёлую игру смотрели кролики. Среди них один белый, любимый кролик Евы, — а рядом, вытянув плоскую голову, притаилась огромная, жирная гадина-змея. Как она попала в рай? Переползла через ограду по крепкому плющу, или добрый Архангел Михаил, сторожи́вший райские врата, сделал вид, что не заметил ее, когда хитрая тварь проскользнула мимо него на заре, сверкая и блестя чешуёй?.. Не знаю. Она одна никогда ни с кем не играла, таилась от всех и молча проползала в кустах, зловеще поглядывая на зверей, — глаза у неё были жёлтые, цвета мутного студня, с чёрной поперечной ниточкой в зрачках.

Белый кролик, круглый и пухлый, как муфта, не успел оглянуться, как все его кроличьи друзья ускакали куда-то за рощу, чтоб посмотреть на «лестницу» с другой стороны лужайки.

Задремал он, что ли, или надоело прыгать, — он остался на месте, разлёгся, поднял нос и беспечно дышал. И вдруг рядом из-под папоротника поднялась тяжёлая змеиная голова, раскрыла медленно пасть и, не мигая, уставилась на него круглыми жёлтыми глазами. В первый раз в жизни стало бедному кролику страшно: сердце забилось, как муха в стакане, под ложечкой затошнило, лапки к земле приросли, — голова с жёлтыми глазами всё ближе и ближе, всё страшней и огромней, — и жало, словно вьюн, так и мелькает вверх и вниз, вправо и влево.

Крикнуть? Позвать других зверей? Но бедный кролик вдруг все райские слова позабыл, даже пискнуть не мог, только задними лапами со страху два раза в землю ударил… и…

Первые переполошились райские птицы. С деревьев сверху им всё видно было: смотрят, лежит змея под папоротниками в тени, хвостом чуть-чуть шевелит, а в пасти у неё белая кроличья спина и задние лапы дёргаются и с каждым мигом всё глубже и глубже в змею влезают.

Встрепенулись и, словно разноцветные цветы, с криком полетели на лужайку, к зверям. Мигом рассыпалась «лестница»! Прибежал грузный слон, и тигр, и мартышки, и мышь, все, все, — окружили гадину, ничего понять не могут.

— Отдай кролика! — загудел слон.

— Отдай! — пискнула мышь.

— Отдай, отдай! — заворчал медведь.

— Сейчас же отдай! — заревел тигр…

Отдай да отдай… Так она и отдаст. Слюной его, бедняжку, всего обслюнила и всё глубже и глубже в пасть засасывает.

Что делать зверям? Браниться не умеют, отнимать силой — не догадались, никогда у них таких историй не было. И вот рысь спохватилась первая: где Ева? Она для них, как добрая мать была, — её любимого кролика змея глотает, — надо за Евой бежать.

* * *

Ева сидела над райским прудом под пальмой, склонилась к воде, заплетала и расплетала светлые волосы — был ей пруд яснее всякого зеркала. Не поняла она сначала торопливых слов задыхающейся рыси: — кролик — змея — глотает — не отдаёт! Поняла только, что с её любимым белым

кроликом какая-то беда стряслась. В раю, ты знаешь, не было ни детей, ни ягнят, ни щенят, ни котят, никто их никогда и в глаза не видал, но Ева почему-то больше всего любила таких зверей, которых можно, как младенца, на руки взять. Слон велик, белка на руках не усидит, а белый кролик — такой ленивый, и тёплый, и пушистый — был ей всех милее…

Встала Ева и пошла быстрыми лёгкими шагами, едва касаясь травы, к зверям. За ней вприпрыжку, высунув язык, рысь.

Пришла и — видит: звери перед змеёй в кучу сбились, и Адам тут. Да и он не в помощь. Стал перед зверями и, как попугай, повторяет за другими: «Отдай кролика!» А у кролика только розовые пятки из пасти дрыгают.

Всплеснула Ева руками, солёные капли так из глаз и брызнули (никогда она раньше не плакала) и скорей-скорей через колючие кактусы, сквозь заросли шершавых кустов побежала к райским вратам, — и все кактусы и папоротники расступились перед ней и шумели ей вслед: скорей! скорей!

Архангел Михаил стоял у широко открытых врат и смотрел вдаль на обступившие райский сад румяные от заката горы. Каждый вечер смот-

рел — и не мог насмотреться.

— Что с тобой, Ева? — спросил он удивлённо, обернувшись на быстрые шаги.

— Змея! Кролика!

— Так я и знал… — нахмурился Михаил и, подняв перед собой огненный меч, освещавший, словно факел, темнеющую землю, пошёл за Евой.

Веером расступились звери перед архангелом. Опустил он пламенем книзу струистый меч, облокотился на золотую рукоять, и закорчилась, как на копье, под взглядом его лучисто-синих глаз змея…

— Ты! — топнул ногой крылатый страж. — Злая и низкая тварь! Ты прокралась сюда тайком… Я не выгнал тебя, живи, — в раю для всех есть место. Но если ты не хочешь жить по-божьему, я заставлю тебя, как прикованную, не двигаться с места! Вон там, видишь, — Михаил взмахнул багровым мечом, — там, куда никому доступа нет, посреди рая стоит яблоня…

— Древо познания добра и зла? — быстро спросила любопытная Ева, с трудом выговаривая странное слово «зло».

— Да, добра и зла, — строго ответил архангел. — Ни днём, ни ночью, — наклонился он к змее, — не

смеешь ты сползать со ствола: лежи и сторожи… Ступай!

Змея покорно шевельнулась и медленно поползла.

— А кролик, а кролик! — закричала взволнованная Ева.

— Отдай кролика, — тихо сказал архангел. Змея поползла дальше.

— Отдай кролика! — верхушки пальм вздрогнули, так крикнул архангел.

Понатужилась змея и, сверкая жёлтыми глазами, как резиновый мячик выбросила из толстой пасти чуть живой комочек к ногам Евы.

Бедный кролик! Он едва дышал, чихал и дрожал и был весь мокрый, словно новорождённый котёнок. Только на руках у Евы стал он приходить в себя и дышать ровнее…

Ушёл архангел к вратам. Разбрелись на ночлег удивлённые звери. И шумя потемневшей травой, проползая мимо ног испуганной Евы к заповедному дереву, злобно прошипела, блестя тусклой чешуёю, змея:

— Жа-ло-вать-ся! Ну погоди же, я тебе отомщу…

. . . . . .

Как она отомстила, ты, верно, уже знаешь, — прочёл в школе. А не прочёл, так узнаешь в своё время.

Праведник Иона

Праведника Иону посетил во сне Господь. «Пойди в Ниневию, нету моего терпения! Живут хуже скотов, злодей на злодее… Образумь их, Иона, а не то…» И загремел гром в небе.

Проснулся Иона, сел на ложе и задумался. Да разве они послушаются? Камнями побьют, а сами ещё пуще прежнего закрутят. Слишком уж милосерд Господь… Нянька им Иона, что ли.

И придумал Иона худое дело, словно затмение на него нашло. Сел потихоньку на корабль и поплыл в город Фарсис, будто по делам, авось и без него всё обойдётся.

В Фарсисе решил заодно родных повидать, внучку на колене покачать, — давно не видел.

Но разве от Господа скроешься? Задул во все щёки ветер, море на дыбы встало, паруса все бичевы порвали и залопотали вверх углами. Закружился корабль, как юла под бичом, — дело дрянь.

Начали корабельщики товар в море бросать: рожки, фиги, смолу-канифоль, только тюки в воздухе мелькают. Все барыши на дно пошли, а толку мало: корабль всё пуще носом в воду зарывается, двух матросов водой слизнуло, — кое-как

успели за бортом за канат уцепиться.

Что же делать, решили жребий бросать.

Пал жребий на Иону, — и стал он просить корабельщиков, чтобы его в воду бросили и тем корабль спасли.

Делать нечего, взяли старика под мышки, — а он и глаза зажмурил, — вот тебе и Фарсис, повидался с внучкой, — и бросили его промеж двух огромных зелёных волн. Так они его, словно одеялом, и накрыли.

И сразу, словно кто море коровьим языком вылизал, гладкое стало, пруд прудом, а ветер к облакам улетел, на самое мягкое лёг и заснул… И поплыл корабль невредим своей дорогой в Фарсис.

* * *

Топить праведника Господу не хотелось. И вот наплыл на Иону несуразный морской зверь Левиафан-кит, глотнул раз и втянул старика с головой и ногами в тёмные недра.

Сел Иона на смрадных кишках, под себя козий мех подложил (как в воду бросили, так он со страху его в кулаке зажал) — и думать стал. Что же больше делать во чреве китовом?

И вспомнил он зелёную землю, розовое солнце

на камнях, вырезные листья смоковницы над низенькой оградой, ящериц, укрывавшихся от зноя в его плаще… Господи, не знал он раньше, до чего это хорошо!

Закачала тьма Иону. Лучше уж в могиле, хоть печаль не сосёт! Пал он в уголке на лицо и стал молиться, — не славословил, не благодарил, — а горько жаловался первый раз в жизни:

— Каюсь, Господи, согрешил! Трудно мне со злыми, истомился. Уходил от них, а Ты не велишь. Тебе одному служил, — а Ты отвернулся. Разве серне укротить гиен? Не люблю я их. Грешен, обманул Тебя: думал, что серный дождь для них лучший учитель, чем я… Что ж, — Тебе виднее. Каюсь, Господи, пусть будет по-Твоему. Пойду! Освободи только из смрадной тьмы, дай ступить на землю, — пойду и исполню…

Гул прокатился над заалевшим утренним морем. Гулко в испуге ударил Левиафан плоским хвостом. Ударил хвостом и понёсся, сам не зная куда и зачем, фыркая и играя, к тихому берегу. С разбега выкатил скользкую голову тёмной глыбой на песок, раскрыл жирную пасть и выбросил Иону головой вперёд, как раз за тем мысом, откуда корабль отчаливал.

* * *

Только к закату вернулся из Ниневии Иона. Шел к морю скалистой тропой на ночлег, — в Ниневии и переночевать не хотел, — всю дорогу сердито ворчал. Усмирил? Уж они его попомнят: гремел, как лев в пустыне, струпьями проказы грозил источить всё живое, иссушающий ветер звал на их сады и источники, гром — на их кровли, мор — на их скот, саранчу — на их поля… Покаялись. Только бичом страха и можно их к Господу пригнать. Но надолго ли?

Шёл Иона, угрюмо смотрел на свои пыльные ноги, — трудно ему было понять своих злых братьев, и не радовал его тяжёлый подвиг, который выполнил он по Божьему слову.

И вдруг за выступом скалы остановился: лежит на земле ястребёнок, из гнезда выпал, пищит, клюв разевает и слабые крылья топорщит. Улыбнулся Иона, взял птенца на ладонь, поднёс к глазам: цел! Полез вверх по шатким камням, по писку нашёл гнездо, уложил ястребёнка среди двух таких же писклявых, и довольный, той же дорогой спустился к подножью. Расстелил плащ под скалой, вытянул усталые ноги и уснул.

И опять посетил его во сне Господь:

— Ну, что, Иона, сетуешь?

— Сетую, Господь, прости уж…

— А ты бы, Иона, не пощадил?

— Не пощадил бы, Господи!.. Уж Ты который раз пугаешь. Покаются — потом ещё пуще грешат.

— Вот ты какой строгий. Что же ты ястребёнка-то пожалел? Разве он добрый? Подрастёт, — станет других птиц бить, кровь сосать. А, Иона?..

Обиделся Иона: «Да ведь Ты же его сам создал, Господь!»

Но разве кто из праведников Господа переспорил?

— Создал… А подумал ли ты, что в Ниневии сто двадцать тысяч живых душ? Не все же они псы. Из ястребёнка — только ястреб и вырастет, а человек — то змей, то голубь, как повернуть. Авось уймутся… И дети растут, — как же им без матерей и отцов подняться? Истребить легко, да тогда и создавать не стоило.

— Что же, может, и не стоило, — печально вздохнул Иона.

— Ну это уж не твоего ума дело. Это Мне знать, а не тебе. А ты, Иона, не сетуй, а люби. Так ли?

— Так, Господь… — смутился Иона и проснулся и до светлого утра размышлял.

А как первый свет брызнул в глаза, понял, что

мудрость жалости глубже мудрости гнева. Встал, взял посох и пошёл к шумящему морю. Обогнул мыс Иона, смотрит — вот чудо. Тот корабль, на котором он бежать хотел, у берега новым товаром грузили, да и корабельщики те же. Увидали его, глазам не верят:

— Смотри, старик-то жив!

— Жив, жив, — рассмеялся Иона, — и ещё лет сто проживу! Что же, опять с вами поеду. Возьмете, что ли?

— А зачем тебе в Фарсис?

— Внучка там у меня, — улыбнулся Иона и тихо повторил, — внучка. Давно не видал.

— Ну, что ж, садись, — сказал кормчий и прикрыл ладонью глаза: солнце подымалось над морем.

Детский остров

Невероятная история

Знаете ли вы, что такое «приготовишка»? Когда-то до войны так называли в России мальчуганов, обучавшихся в гимназиях в приготовительном классе.

Мужчина этак лет восьми, румяный, с весёлыми торчащими ушами. В гимназию шагал он не прямо по тротуару, как все люди, а как-то зигзагами, словно норвежский конькобежец. За спиной висел чудовищный ранец из волосатой и пегой коровьей шкуры. В ранце тарахтел пенал, горсть грецких орехов, литой чёрный мяч, арифметика и Закон Божий. В руке — надкусанное яблоко. Полы светло-мышиной шинели, подбитые стёганой ватой, отворачивались на ходу, как свиные уши. Шапка тёмно-синяя, с белыми кантами, заломлена по бокам пирожком, а герб в подражание второклассникам согнут в трубочку: не как-нибудь! На ногах — броненосцы: огромные резиновые ботики, на которые лаяли все встречные собаки.

Вот, собственно говоря, что такое «приготовишка».

Учёности его я касаться не буду, потому что сам

затруднился бы вам теперь ответить, «что делает предмет», какая разница между множимым и множителем и как назывались несимпатичные братья Иосифа, продавшие его в Египет.

* * *

В Москве на Сивцевом Вражке жил у пухленькой баловницы-тётки один такой приготовишка, Васенька Горбачёв. И была у него мечта. Не какая-нибудь вычитанная из «Тысячи и одной ночи» мечта, а самая простая и доступная. Васенька видал как-то в цирке у Дурова дрессированного зайца, который зубами, по желанию публики, вытаскивал карту любой части света, катался на маленьком заячьем велосипеде и, скосив глаза вбок, отдавал честь старой легавой собаке.

Штуки не бог весть какие… Мальчик решил скопить денег, купить простого деревенского зайца и обучить его тайком в ванной комнате совсем другой вещи: четырём арифметическим действиям и таблице умножения.

Счёт, раз заяц говорить не умеет, можно ведь отбивать лапкой…

Вот будет сюрприз! Во всех газетах появится Васин портрет с зайцем, директор гимназии объявит ему перед всем классом благодарность

и напишет тёте письмо, что племянник её, Василий Горбачёв, затмит когда-нибудь самого Ломоносова.

От каждого завтрака, — а давала ему тётка каждое утро гривенник, — экономил он по три копейки, и, когда накопил рубль медью, обменял его в мелочной лавке на серебряный. Зажал рубль в ладонь и в первый же свободный день пошёл в ботиках, весело насвистывая, на Трубную площадь, где продавали в клетках и прямо с рук всякое зверьё и птицу.

* * *

Чудесно было на Трубной площади! Небо синенькое, весеннее, под галошами вкусно чмокала налитая водой слякоть, у обочины тротуара искрился и лепетал ручей, словно он не по людной Москве бежал, а по деревенской околице. На окне в портерной — бутылки играли на солнце ярче аптечных шаров. А народу на площади — муравейник. И всё можно достать, чего пожелаешь: конопляное семя, кормушки для птиц, муравьиные яйца в пакетиках — фунтиками.

В ивовых клетках копошилась живая тварь: дымчато-голубые горлинки, выпятив грудку, ворковали под столами и нежно друг дружку под-

талкивали клювами, надувались толстые чёрные куры-испанки в лохматых штаниках, нарядный карликовый петушок со своей белой курочкой, словно игрушечные, смотрели на толпу стеклянными глазками. Иволги, сойки, чижи… Белка свернулась в рыжий комок и спит, — надоело ей вдоль клетки прыгать… Мопсы, маленькие, совсем ещё дети, высовывали розовые носы из-за пазухи оборванца… Но зайца — не было. Нигде не было!

Три раза обошёл Васенька площадь, во все лари заглядывал, под все столы: нет зайца.

— Чего покупаете, купец? — хрипло спросил вдруг у приготовишки опухший босяк и зорко посмотрел на серебряный рубль, торчавший из Васиного кулака.

— Зайца…

— Шкурку, что ли?

— Какую шкурку! — мальчик обиделся. — Живого зайца, как вы не понимаете. Да вот нету. Продали, что ли, всех…

Босяк задумался:

— Много ли дашь? Я достану.

— А что он стоит? — Васенька и сам не знал, как живых зайцев расценивают: на вес, что ли, или в длину по вершкам.

— Рупь. — Босяк снова покосился на Васин рубль, перевёл глаза на пивную лавку и сплюнул.

— Девяносто пять копеек? — робко спросил Васенька.

Он знал, что надо торговаться. Да на пятак внизу у них в мелочной сразу можно бы зайцу свежей капусты купить.

— Рупь, — хрипло повторил опухший субъект. — Через полчаса приходи сюда, видишь, вон где сбитенщик стоит. Будет тебе заяц.

— Живой?!

— Дохлыми не торгуем.

Васенька радостно щёлкнул языком и побежал, чтобы убить время, к знакомой табачной лавке через улицу. Там в окне давно уже он заприметил серию марок Мыса Доброй Надежды. Надо спросить о цене и выменять на двойники.

Целых полчаса! И куда это босяк за зайцем отправился? Нырнул в подворотню, фить — и исчез.

* * *

Не прошло и получаса, — Васенька уже давно на Трубной площади топтался около указанного места. От нетерпения даже минутную стрелку

на своих чёрных часиках на пять минут вперёд перевёл.

Наконец, видит, идёт босяк, а под мышкой у него какое-то серое чудовище лапами дёргает.

— Заяц!..

Босяк нос об зайца вытер, дух перевёл и заторопил:

— На! Давай рубль! Еле раздобыл... Тащи, тащи живей, чего глаза расстегнул? Под зад поддерживай, башку под локоть зажми, а то даст стрекача, — пропал твой рубль ни за копейку...

Сказал, заржал на ходу, картуз козырьком назад передвинул и скрылся, — только дверь в пивной и хлопнула.

Понёс мальчик своего драгоценного зайца домой, хоть и не легко нести, сам так весь улыбкой и расцвёл. На трамвай денег нет, да и пустят ли с зайцем.

— Сиди смирно! Ишь тяжёлый какой, словно утюгов наелся.

А заяц не унимается, лапами, как пожарный насос, работает, так и рвётся прочь из-под мышки, точно его казанским мылом намылили.

И вдруг. . . . . .

. . . . . .

* * *

Тетя Варя в ужас пришла. Приплёлся её любимый Васенька домой, плачет — рыдает, захлёбывается, по всей мордашке слезы рукавом размазаны, а в руках дрянная заячья шкурка.

— Что с тобой, Василек? Кто тебя обидел? Что за шкурка такая?

— Мо-шен-ник меня об-мо-шен-ни-чал! Я у него на Трубной зай-ца купил… Ду-мал тебе сюрприз устроить, обучить зайца таб-ли-це умножения. А босяк, тётечка, взял рубль…

— Ну?!

— Сунул мне зайца… Я несу, а он барахтается. И вдруг… он шкурку свою распорол… и из шкурки живая кошка вылезла… и убежала!

— Как кошка?!

— Ну, как ты не понимаешь! Босяк кошку во дворе сцапал, наскоро в заячью шкурку зашил… и мне продал… Народ кругом хохочет! Я сначала испугался, потом растерялся, а потом плакать стал… Досадно ведь, тётечка! Что я теперь делать буду?!

— Не плачь, Василёк…

Тётка племянника по стриженой головке гладит, а самой и жалко его, и смешно.

— Не плачь! Я с тобой сама пойду, настоящего живого зайца купим. Обучим его хоть геометрии, ты у меня мальчик учёный, авось выучишь. А плакать не надо. Что это в самом деле. Мужчина — плачет.

— Купишь, тётя?! В самом деле?.. Побожись, что купишь!

— Божиться грешно… Тётке и так верить надо. А вот ты поди умойся, ишь целое озеро по лицу размазал. Да приходи чай пить с малиновым вареньем. Хорошо?

Побежал Васенька по коридору, ногами взбрыкивает, куда и горе девалось.

А тётка за спицы свои взялась: Васеньке чулки надвязывать. Вяжет и ворчит:

— Вот, прости Господи, какие мошенники окаянные по Москве пошли… Кошку в заячий мех среди бела дня зашивают, дитя обманывают. Тьфу!

Самое страшное

Конечно, «страшное» разное бывает. Акула за тобой в море погонится, еле успеешь доплыть до лодки, через борт плюхнуться… Или пойдешь в погреб за углем, уронишь совок в ящик, наклонишься за ним, а тебя крыса за палец цапнет. Благодарю покорно!..

Самое страшное, что со мной в жизни случилось, даже и страшным назвать трудно. Стряслось это среди бела дня, вокруг янтарный иней на кустах пушился, люди улыбались, ни акул, ни крыс не было… Однако до сих пор, — а уж не такой я и трус, — чуть вспомню, — по спине ртутная змейка побежит. Ужаснёшься… и улыбнёшься. Рассказать?

* * *

Был я тогда «приготовишкой», маленьким стриженым человеком. До сих пор карточка в столе цела: глаза черносливками, лицо серьёзное, словно у обиженной девочки, мундирчик, как на карлике, морщится… Учился в белоцерковской гимназии. Кто же Белую Церковь не помнит:

Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет…

Рядом с мужской гимназией помещалась женская. У мальчиков двор был для игр и прогулок, у девочек — сад. А между ними китайская стена, чтобы друг другу не мешали.

Помню, перед самыми рождественскими каникулами холод был детский: градусов всего пять-шесть. Выпустили нас, гимназистов, и верзил, и маленьких, на большой перемене во двор проветриться. В пальто, конечно, чтобы инфлуэнцы не схватить (тогда грипп инфлуэнцой называли).

Характер был у меня особенный. У маленьких собачонок нередко такая склонность замечается: ни за что с маленькими собаками играть не хотят, все за большими гоняются… Так и я. Крепость ли снежную шестой-седьмой класс в лоб берёт, либо в лапту играют, — я всё с ними. Визжать помогаю, мяч подаю, дела немало. Привыкли они ко мне, прочь не гнали. И прозвали «Колобок», потому что голова у меня была круглая, а шинель очень толстая, стёганая, вроде подушечки для втыкания булавок.

Увязался я и на этот раз за взрослыми. Мяч под

небеса, я наперерез за мячом. Ловить, само собой, остерегаюсь, — литой чёрный мяч, руки обожжёт. А так, если мимо всех рук хлопнется, летишь за ним чёртом, галоши на ходу взлетают, — и подаёшь кому надо. Опять на своё место станешь и ноги ромбом поставишь. Такая уж позиция была любимая: перед тем, как по мячу шестиклассник лопаткой ударит, его подручный мяч кверху подбрасывает. А ты за них волнуешься и на кривых ножницах, словно паяц на нитке, дёргаешься.

И вот на мою беду, ребром по мячу попало, полетел он низко над головами косой галкой прямо в женский сад за стенку. Стенка ростом в полтора Созонта Яковлевича (надзиратель у нас такой был, вроде складной лестницы). Что делать?

На своё горе я сгоряча и вызвался. Приготовишки очень ведь к героическим поступкам склонны, во сне на тигра один на один с перочинным ножом ходят… А взрослые балбесы обрадовались. Подхватили меня под руки и, как самовар станционный, к стенке поволокли. Один стал внизу, руками и головой в стену упёрся, другой на него — вроде римской осадной колонны.

Подхватили меня, под некоторое место хлопнули — ух! — взлетел я на стенку, на руках по ту сторону повис… Снег мягкий, шинель толстая

— ничего! И полетел вниз в полной беспечности лёгким перышком на ватной подкладке.

* * *

Вылез я из сугроба, снегу наелся, по спине порция мороженого потекла. Руки и ноги целы. По полам себя хлопаю, снег отряхиваю, глаз не подымаю — некогда.

И вдруг из-за всех кустов, словно стадо поросят кипятком ошпарили, визг невообразимый… Справа девочки, слева девочки, сзади девочки… Тысячи девочек, миллионы девочек… Маленькие, средние, большие, самые большие.

А впереди краснощёкая, толстая, ватрушка воинственная в капоре, надсаживается — кричит:

— Идите все сюда! Мальчик к нам в сад свалился!

Съёжился я, как мышь в мышеловке. Стена за спиной до неба выросла. Предателей моих не видно, не слышно… Где моя любимая мужская гимназия? Куда удирать? Как я из этого осиного гнезда выдерусь?! Снег на моём затылке горячий-горячий стал. В ушах сердце, как паровая молотилка, бьётся.

А девочки по всем правилам осады круг сомкнули, смолкли и смотрят. Синие глаза, серые

глаза, карие глаза, голубые глаза — острые, ехидные по всей моей восьмилетней душе ползают… Колют, жалят, в один пёстрый глаз сливаются. Они, девочки, храбрые, когда мальчик один!

И всё ближе и ближе… Это тебе не тигр во сне. Не акула в море. Не крыса в погребе…

Тысяча губ раскрываются, перешёптываются: шу-шу, шу-шу… Язычки, как жала, высовываются. И вдруг одна фыркнула, другая захлебнулась, третья по коленкам себя хлопнула, и как прыснут все, как покатятся… Воробьи с кустов так и брызнули. А я посредине — один, как мученик на костре.

Стянули они круг теснее. Ещё теснее… Когда к дикарям в плен попадёшь, всегда ведь так бывает: прежде чем пленника поджарить, отдают его женщинам — помучить… Господи, до чего мне страшно было! Может быть, они меня подбрасывать станут? Или защекочут, как русалки? Каждая в отдельности ничего, но когда их тысячи, — мышей, например, — что они с епископом Гаттоном сделали?!.

Но они ничего. Только ещё ближе подобрались. Одна постарше наклонилась, фуражку мою подняла, боком на меня надела. Другая со щеки у меня снежок смахнула. Третья по голове по-

гладила… Какая-то ехидна подскочила, еловую лапу над головой дёрнула, — всего меня снегом обкатила. Начинается!

Стою я пунцовый. И со страху в ярость приходить начинаю. Мускулы под шинелью натянул. Как сталь! Что ж, думаю… погибать так с треском! Сто девочек на левую руку, сто на правую! Брыкаться-кусаться буду… И не выдержал, в позу стал и головой слегка вперёд боднул.

А они опять как зальются. Словно весь сад битым стеклом посыпали.

И первая, ватрушка воинственная, вдруг сбоку нацелилась и рукой меня за нос… Чайник я ей с ручкой, что ли?! Обидно мне стало ужасно… Посмотрел вверх на гимназическую стену, фуражку козырьком на своё место передвинул и издал пронзительный крик:

— Шестой и седьмой класс! На помощь! Девчонки меня му-ча-ют!!!

Да разве их перекричишь… Такой смех поднялся, такой визг, такое улюлюканье, словно в аду, когда, помните, гоголевский запорожец с ведьмой в дурачки играл… Так бы я, быть может, и погиб…

Но на моё счастье, вижу издали, словно облако, седая дама плывёт — в серой шубке, на голове

серебристая парчовая шапочка. Подошла. Девчонки все сразу ангелами, божьими коровками стали. Расступились, шубки оправили… От реверансов снег задымился…

А я, маленький, врос в снежную грядку, стою посредине и дышу, как загнанный олень.

Посмотрела на меня дама в очки с ручкой, которые у неё на шее висели, мягко улыбнулась и спрашивает:

— Вы как сюда, дружок, попали?

Представьте себе — тишина кругом, словно на Северном полюсе. Все смотрят, ждут, что я отвечать буду, а я совсем начисто с перепугу забыл, зачем я в сад свалился. Будто я и не приготовишка, а «Капитанская дочка», и сама Екатерина Великая со мной разговаривает. И уши до того горят, что и сказать невозможно…

Взяла меня седая дама пальцем под подбородок, подняла мою замороченную голову и опять спрашивает:

— Как вас зовут?

Ну это я кое-как, слава Богу, вспомнил. Но от робости ни с того ни с сего шепелявить стал:

— Шаша.

Опять вокруг ехидные девочки захихикали. Не громко, конечно, но всё равно же обидно.

Дама на них строго оглянулась. Точно холодным ветром смешок сдуло. Только за спиной тихо-тихо (слух у приготовишки острый!) шипение слышу:

— Шашечка! Промокашечка… Таракашечка…

А даме, конечно, любопытно. Не аист же меня в женскую гимназию принёс.

— Как же вы, Саша, всё-таки в сад к нам попали?

И вдруг над стенкой шестиклассная голова в фуражке появляется и басит:

— Извините, пожалуйста, Анна Ивановна! Мяч у нас через стенку перелетел. Мы гимназистика этого в сад и перебросили.

Но дама его, как классный наставник, очень строго на место поставила:

— Стыдитесь! Большие — маленького подвели. Да и где он тут в снегах-сугробах мяч ваш найдёт?

— Да он сам вызвался.

— Не возражать. Сейчас же пришлите кого-нибудь к нашей парадной двери, чтобы его в класс отвели. Слышите?

И шестиклассная голова сконфуженно нырнула за стенку.

— Вам тоже стыдно, медам! Разве так можно?

Точно зайца на охоте обступили… Слава Богу, не все же здесь маленькие… Могли бы и умней поступить.

Тут уж девчонкина очередь пришла: покраснели многие, как клюковки. А одна гимназисточка, ростом с меня, тихонько мне руку сочувственно пожала.

Довела меня седая дама сама до калитки. Руку на плечо положила. Сразу мне легче стало…

Расшаркаться я даже не догадался, побежал к парадным дверям: да и время было, — колокольчик во всю глотку заливался… Кончилась, значит, большая перемена, — кончились и мои мучения…

На ёлку в женскую гимназию, как ни уговаривала меня няня, я не пошёл.

— Почему?

— Не пойду.

— Да почему же?

— Не пойду, не пойду!

Няня только головой покачала:

— Фу, козел, упрямый… Уж попомни мои слова, сошлют тебя когда-нибудь в Симбирск.

Няня наша в географии плохо разбиралась, и что Сибирь, что Симбирск — для неё было все едино.

Так я дома и остался. А поздно-поздно старшая сестра-гимназистка с ёлки вернулась, целый ворох игрушек мне на постель вывалила.

И сказала таинственно:

— Они очень раскаиваются. Очень жалели, что ты, козявка, не пришёл, и прислали тебе с ёлки подарки.

А я головой в подушку зарылся и в ответ только голой пяткой брыкнул.

Париж, 1928

Голубиные башмаки

Было это в Одессе, в далёкие дни моего детства.

Младший брат мой Володя, несмотря на свои шесть с половиной лет, был необычайно серьёзный мальчик.

По целым дням он всё что-то такое мастерил, изобретал, придумывал.

Пальцы у него были всегда липкие, курточка в бурых кляксах, от волос пахло нафталином, а в карманах — от мелкой дроби до сломанного пробочника — можно было найти такие вещи, какие ни у одного старьёвщика не разыщешь.

Даже искусственный глаз нашёл где-то на улице и никогда с ним не расставался: натирал его о штанишки и всё пробовал, какие предметы будут к глазу притягиваться.

Изобретает — и всё, бывало, что-нибудь жуёт в это время: хлеб с повидлом, резинку, либо копчёную колбасную верёвочку.

Кто знает, может быть, Эдисон тоже, когда был мальчиком и производил свои первые опыты, жевал жвачку, чтобы облегчить сложную работу своих мозгов.

К несчастью для себя, Володя изобретал всё

такие вещи, которые до него давно уже были изобретены и всем надоели.

То делал из серы, зубного порошка и вазелина непромокаемый порох.

То приготовлял из ягод шелковичного дерева чернила: давил ягоды в чашке, встряхивал, переливал сок в пузырёк, — перемазывал нос, обои и руки до самых локтей.

А потом приходила бабушка, шелковичные чернила выливала в раковину, щёлкала Володю медным напёрстком по голове и брюзжала: «Это не мальчик, а химический завод какой-то! Готовые чернила стоят в лавочке три копейки, — а ты знаешь, сколько новые обои стоят?.. Шмаровоз!»

Володя не обижался, — к напёрстку он привык, а «шмаровоз» даже и не ругательство, а так, чепуха какая-то.

Уходил на кухню, выедал там из сырых вареников вишни и вырезал на пробках, приготовленных для укупорки кваса, печатные буквы. Точно книгопечатание не было и без него изобретено.

Особенно любил он совершенствовать разные ловушки.

То в мышеловку привязывал на проволоке сразу три приманки, чтоб три мыши оптом ловить — для экономии.

Но проволочка зажимала защёлку, мы-ши приходили, наедались и до того полнели, что даже щель в углу под комодом пришлось им прогрызть пошире: не влезали.

То липкую бумагу для мух смазывал мёдом и до того густо посыпал сахарным песком, что мухи паслись-паслись, а потом безнаказанно выбирались через все липкие места по сахарным крупинкам на свободу и на всех зеркалах и стёклах клейкие следы оставляли.

А больше всего, помню, возился он с силками для голубей.

Обыкновенно силки дело не хитрое: мальчишки, перебегая через улицу, вырывали из лошадиных хвостов волосы, — надо было только не попадаться на глаза ломовым — «биндюжникам», а то и собственных волос лишишься; потом они плели леску, делали петли — вправо и влево поочередно, прикрепляли силки к колышку и засыпали зерном… Голубь ходит, урчит, разгребает лапками зёрна, пока ножку в петле не завязит. Вот и вся штука.

Но Володе этого было мало.

От каждой петли он ещё проводил с нашего дворика к своему окошку нитку.

И привязывал каждую нитку к колокольчику

на гибкой камышинке над столом.

Чтобы, пока он у стола другим делом занят, — мастерит сургуч из стеарина и бабушкиной пудры, — каждый попавшийся голубь ему со двора сигнализацию подавал.

Конечно, и голуби, и соседний петух, и даже мелкие нахалы-воробьи всё зерно съедали, а колокольчики хоть и звонили, да впустую: все петли, благодаря Володиному усовершенствованию, вместо того, чтобы стягиваться, только растягивались.

Так у нас немало провизии тогда зря пропадало — на мышей, да на мух, да на птичье угощение.

А если посчитать, сколько сам Володя во время своих опытов глотал — то повидла, то гусиных шкварок, — то, право, можно было на эти деньги не то что голубя, живого страуса из Африки выписать.

* * *

Однажды утром, когда дед собрался в гавань в свой угольный склад по делам, Володя пристал, чтобы дед и его с собой взял.

Слыхал он от приказчика, что там, на угольном складе, тьма голубей: слетаются лошадиный корм клевать, пока телеги углем грузят.

Дед согласился, — что ты поделаешь, когда упрямый мальчик по пятам за тобой ходит из спальни в столовую, из столовой в переднюю и всё клянчит…

Надел Володя новые жёлтые башмаки, захватил с собой силки и обещал к вечеру весь чердак голубями заселить.

А я остался дома, потому что, когда в первый раз сказки Андерсена читаешь, никакая гавань, никакие голуби на свете тебя не соблазнят.

Часа через три я очнулся: на кухне с треском хлопнула о пол тарелка, и кухарка с таким изумлением вскрикнула «ах ты Боже мой!», точно крыса в котёл с супом вскочила.

Прибежала бабушка и тоже ахнула: на пороге кухни стоял с носками в руке, широко расставив босые ноги, голубиный охотник…

Стоял перед бабушкой, как раскаявшийся беглый каторжник, и тихо ревел, утирая носком неудержимо катившиеся по пухлым щекам слёзы.

— Где башмаки?!

— Жу… Жулик унёс…

— Какой жулик?! Кто посмеет в Одессе с живого мальчика башмаки снимать? Чучело ты несчастное!

— Я не чу-че-ло… Я сам… снял. За что ты меня мучаешь?..

И стал реветь всё громче и громче. Так громко, что ни одного слова нельзя было разобрать.

Только пузыри изо рта выскакивали.

А потом, когда немного успокоился, вспомнил, что у него есть самолюбие, упёрся — и ни слова больше ни бабушка, ни кухарка из него не вытянули.

Тогда я увёл его в детскую, угостил финиками, которыми я в то утро чтение андерсеновских страниц подсахаривал, и упросил по дружбе рассказать, что такое случилось с ним в гавани.

Володя разжал второй кулак, положил в карман кусок канифоли, взял с меня слово, что я не буду над ним смеяться, и всё мне рассказал.

* * *

Голубей на угольном складе не оказалось.

Приказчик Миша объяснил Володе, что «биндюжники» только после обеда приедут, а пока все голуби в гавань улетели подбирать пшеницу, которую на заграничный пароход грузили.

Дедушка ушёл в свою контору.

Володя повертелся и решил, что такого случая упускать не следует: гавань в двух шагах, — когда

ещё сюда попадёшь?

Скользнул за ворота, прошёл под эстакадой и, действительно, — голубей на набережной туча…

Прямо живая перина на камнях шевелилась!

Отошёл он в сторонку, выбрал среди груды ящиков укромное местечко и пристроил свои снасти. Засыпал их сплошь пшеницей, притаился за ящиком и застыл.

А голуби по краям пшеничной дорожки ходят, лениво лапками разгребают, никакого им дела до Володиной ловушки нет. Вся набережная в зёрнах, — ешь — не хочу…

Володя ждал-ждал… Грузчики стали на обед расходиться.

Совсем он разочаровался, хотел было и силки свои смотать. Видит, стоит в стороне симпатичный босяк и на него смотрит.

Подошёл поближе, сел наземь, взрезал арбуз и ломтик Володе дал.

А потом разговорился, посмотрел на Володины силки и засвистал. Кто ж так голубей ловит? Этот способ устарелый!..

Конечно, Володя зашевелился, — какие-такие ещё способы есть? Босяк подумал, спросил брата, один ли он тут.

Узнал, что дедушка в конторе за эстакадой, и

свой секрет Володе с глазу на глаз открыл: надо в небольшие детские башмаки, лучше всего в жёлтые — этот цвет голуби обожают, — насыпать зерна. Голубь в башмак голову сунет и наестся до того, что зоб у него колбасой распухнет, — так в башмаке и застрянет.

Тут его и бери голыми руками. Хочешь, говорит, попробуем… Твои башмаки в самый раз подходящие.

Володя разулся, — доверчив он был, как божья коровка, — да и новый способ заинтересовал.

Босяк сунул башмаки под мышку, хлопнул по ним ладонью и ушёл за ящик, приказав брату сидеть тихо-тихо, пока он ему не свистнет…

Так он просидел с полчаса. А потом ноги затекли, и стали его чёрные мысли мучить.

Вскочил он и бросился за ящик.

Туда-сюда: ни босяка, ни башмаков. Только голуби под ногами переваливаются-урчат… Возьми — голой рукой.

И вот так, всхлипывая, — к дедушке в склад он и носа показать не решился, — босой, через весь город, с носками в руке, добрался он домой на Греческую улицу…

Помню очень хорошо: прослушал я Володин рассказ серьёзно-пресерьёзно, ведь дал слово…

Но когда он под конец стал свои босые пальцы рассматривать и опять захныкал, — я не выдержал: убежал в переднюю, сунул нос в дедушкино пальто и до того хохотал, что у меня пуговица на курточке отскочила.

За обедом я на бедного Володю и глаз не поднимал. Вспомню, что голуби «жёлтый цвет обожают», — так суп у меня в горле и заклокочет… Бабушка, помню, даже обиделась:

— Был в доме один сумасшедший, а теперь и второй завёлся. Поди-поди из-за стола, если не умеешь сидеть прилично!

Обрадовался я страшно, выскочил пулей и весь порог супом забрызгал.

Потому что, когда тебя смех на части разрывает, в такую минуту и капли супа не проглотишь.

Счастливый карп

Мама не совсем здорова, не выходит.

В субботу — базарный день. Миша, как всегда, собрался с раннего утра. Взял свою маленькую сетку для провизии, натянул до бровей синий колпачок и из передней крикнул отцу:

— Ты что же, папка, копаешься? Зонтика не бери, лягушка на балкончике.

У Миши был свой барометр с живой лягушкой на комоде в спальной. Если лягушка взбиралась в банке по лесенке на балкончик, значит, день будет ясный. А может быть, и наоборот… Кто их разберёт, лягушек этих французских?..

Папка долго ещё копался: искал ключ от дверей, спички, трубку. Вместо носового платка наволочку в карман запихал, пришлось менять. Мешок для провизии Миша под пишущей машинкой разыскал, шляпу из-за кресла выудил. Что бы папка без Миши делал, даже подумать страшно…

А потом только за дверную ручку взялись, мама из кухни выскочила:

— Рыбу, пожалуйста, не забудьте… Ты уж, Миша, пожалуйста, проследи, чтобы свежая была. А то прошлый раз…

— Знаю, знаю, мамуся! Ясные глазки, красные жабры. Макро брать, или колэна, или что?

— Да уж не знаю, чижик. Вы с папой там сами присмотрите, что посвежее.

— Идёшь, папка?! Прямо терпение с ним лопается, с этим человеком.

Папка рассмеялся, с трудом натянул на правую руку левую перчатку и хлопнул дверью.

Базар длинной полотняной улицей тянулся шагах в двадцати от Сены. В самой гуще базара Миша ничего, кроме медленно плывших перед ним спин, не видел. Да чужие мешки со всех сторон задевали его то за волосы, то за нос. Но зато на перекрёстке было просторнее. На панели, у самой мостовой, блестели на солнце солонки, жестяные крышки и соблазнительные копилки в виде румяных яблок и свиных голов. На раскидном столике грудой желтели солнечного цвета лимоны и бананы. Какая-то красная, похожая на тюфяк, баба сердито кричала, предлагая прохожим кудрявую овощь вроде мяты. Распластанные кролики с крохотными почками и печёнками так беспомощно лежали на прилавках, раскинув ножки в меховых чулочках. Миша вздохнул…

Долго вздыхать было, однако, некогда. Ишь, отец, хитрый какой, засмотрелся на детские граб-

ли и повозочки, а про рыбу и забыл.

Миша потянул его за рукав и потащил к рыбным столам. Выбирали недолго: с краю лежал симпатичный карп, как раз такой, как надо. Не большой и не маленький, ясные глазки, красные жабры, полненький и совсем не дорогой. Самый подходящий эмигрантский карп.

Уложили его в папин мешок, прикрыли сельдереем и пошли домой. А в маленькой сетке Миша нёс то, что полегче и поделикатнее: головку кудрявого салата, три яйца в бумажном мешочке, и сюрприз для мамы — пучок лиловых анемонов.

* * *

Вытащили толстяка-карпа на свет Божий из коленкорового мешка, положили на деревянную дощечку.

Миша тут же вертится, на апельсин самый большой нацелился; надо перед обедом выпросить, — сначала на коже китайскую рожу выкроить, а потом сок выжать, с малиновым сиропом взболтать и сладкую бурду через пульверизатор высосать. Любознательный был мальчик.

Покосился Миша на карпа, задумался. Хорошо всё-таки быть человеком. В сеть тебя не словят, кожу скрести ножом не будут, на сковородку не

положат… О! Что же это такое?!

— Ма-ма! Он зевает!..

— Кто зевает?

— Карп! Ура!.. Живой… Да иди же сюда, иди же! Хвост поднял!

Схватил Миша бесстрашно карпа поперёк живота, бросил его в жестяную лохань, встал на табурет, отвернул кран. Хлынула вода, загремела о жесть, пена ключом, ничего не видно. А когда доверху дошла, в лохани прояснело. Смотрит Миша: медленно шевельнулась рыба, дышит, пасть открывает, хвостом туда и сюда. Словно после обморока сил набирает.

Папка, конечно, рядом стоит.

— Ах ты, Карп Иванович! Смотри, Миша, вкруговую поплыл, носом тычет. Как же его теперь, чудака, жарить? Сами в чувство привели, сами и потрошить будем? А? Нехорошо это как-то. Негостеприимно.

— Никто его потрошить и не будет. Мы же не вампиры какие-нибудь! Мамочка, я его у тебя откупаю.

— Как, дружок, откупаешь? Что за глупости?

— Совсем нет. Возьми у меня в копилке двенадцать франков, столько, сколько он стоит, и сделай нам какой-нибудь моментальный обед.

Я, мамуся, на всё согласен. Пусть хоть молочный суп. Папка тоже. Согласен? Ещё бы! Какой тут разговор… А карп пока будет жить…

— Под твоей кроваткой? Отлично. А франков твоих мне не надо. Купи лучше на них своему карпу тюфячок.

— Ты, мамуля, не насмехайся. Позволь пока, ну позволь, миленькая, мармеладная, любимые глазки, ду-ду-дёшечка, пусть пока поживет в ванне… А потом я для него постоянное местожительство придумаю. Честное слово. Поедим сардинок, что ли? Они без головы, их уже не жалко… Правда, правда? Ты же не вурдалак! Ты же золотая! Ты же не станешь из живой рыбы кишки выматывать…

— Не стану. Да замолчи ты, барабанщик. Тащи рыбу в ванну. Вдвоём берите… Господи, потоп какой! Марш из кухни! Как-нибудь уж вас накормлю, рыболовов… Только, чур, не ворчать. Выметайтесь!

В коридоре перед ванной Миша поскользнулся и запищал на всю квартиру:

— Расшибся! Вдребезги расшибся! Что же ты на меня смотришь?

Мама всплеснула руками и выскочила из кухни.

— Ногу ушиб? Ручку?

— Странная какая. Какие же у карпа ноги и ручки? Он ушибся, а не я!.. У него теперь сотрясение мозга сделается… Почему же ты хохочешь? Безжалостная!

Но папка ловко подобрал трепыхавшуюся рыбу с пола и успокоил Мишу:

— Не пищи. Карп, как мячик. Даже не треснул… Хоть на плиту его роняй! Открой в ванне кран… Стой, стой, не брыкайся! Пожалуйте, Карп Сидорович, будьте как дома… Температура самая для вас подходящая.

* * *

Карп третий день живёт в ванне. Тесновато, но не так уж плохо. Воду меняют два раза в день. Да Миша чуть улучит минутку, свежей воды подольёт. Оплывает карп ванну, со всех сторон гладко и кругло, выхода не найдёшь. Иногда наверху электрическое солнце вспыхивает, беспокойная это штука.

Миша всё старался с карпом подружиться. Встанет на скамеечку, сунет руку в воду и всё карпа погладить норовит. А тот глуп, детских нежностей не понимает и, как шальной, в сторону шарахается.

И самое главное — ничего не ест. Уж ему мальчик и хлебные крошки бросал, и салата кусочки, и бисквиты, и даже хвостик сардинки. Не ест. Скучает, должно быть? Авось на следующий базар другой живой карп попадётся. Вдвоём веселей будет…

Миша все свои океанские ракушки на дно ванны побросал и целлулоидную рыбку подкинул, и лебедя. Карп на них внимания не обратил. Даже не понюхал.

Мама терпела день, терпела другой, на третий — ворчать стала. Что это за порядки? Живорыбный садок у них или квартира? Вчера Миша со скамеечки в воду перевернулся, всю курточку вымочил, едва за хвост его поймали… Ванну брать нельзя… Такой визг мальчик подымает, хоть беги из дома и уступай квартиру карпу. Да и отец, даром что взрослый, стал всё в ванную с Мишей наведываться. Станут рядом и любуются. Книжку, по которой Миша начинал читать учиться, и ту в ванную перенесли…

И решила мама затею эту прекратить. Ведь так, чего доброго, они в ванне креветок и морских ежей разводить станут…

Подумала она хорошенько, позвала Мишу и новый план перед ним раскрыла. Карп не ест,

потому что ему без рыбьего общества скучно: в ванне он всё равно захиреет, и придётся его консьержкиной кошке на обед в помойное ведро выбросить. Стало быть, если Миша карпа любит и точно добра ему желает, надо в банку с водой посадить, отнести в Булонский лес и в озеро бросить.

Миша потупил глаза, вздохнул и мужественно согласился. В самом деле: третий день ничего не ест его рыбий приятель… Пусть уж не страдает, пусть возвращается в своё… общество.

* * *

Француженка уборщица, мывшая на кухне посуду, покачала головой.

— Живой карп… Да ведь это прекрасное блюдо! Зачем же его в озеро бросать? Ведь он денег стоит.

Миша потянул папку за рукав.

— Идём… Она всё равно, что мадам Баба-яга, и я её даже слушать не хочу. Сними с банки крышку! Ему дурно… Видишь, как он рот раскрывает?

Мама тоже собралась с ним в лес проводить карпа на его новую квартиру.

Банку поставили в сетку. Знакомая лавочница внизу тоже ничего не поняла. Пощёлкала по

банке пальцем и фыркнула:

— В озеро? Зачем же его покупали?

Подошёл почтальон, тоже ничего не понял. Только маленький консьержкин сынок догадался:

— Ваша рыба будет в озере жить? Будет плавать вперегонку с другими рыбами?.. Да?

Шли людными улицами. Миша обложил банку в сетке газетой, чтобы посторонние люди не смотрели и не оборачивались. Никому нет дела! А может быть, и отымут? Может быть, нельзя живую рыбу назад в озеро бросать?

Показался лес. Каштаны уже развесили зелёные тряпочки, — новые, ещё сморщенные листочки. Вдали забелела семейка берёз. Обогнули скачки и наискось через свежезеленую полянку пошли к голубой, тихой воде. Миша отковырнул газету и заглянул в банку.

О чём думает теперь карп? Он и не знает, что сейчас отпустят его на свободу, как золотую рыбку в сказке… И потом Миша тоже как-нибудь придёт на берег озера, вызовет карпа и попросит у него… не для глупой привередливой бабы, а для себя, чтобы карп ему подарил аквариум с ракушками… И жемчужное колечко для мамы. Ведь это очень скромное желание…

Пришли. Папа оглянулся. У берега на дощечке было написано ясно, что ходить по траве воспрещается. Но как же иначе пробраться к воде?

Оглянулись ещё раз — вокруг никого, — и вдоль кустов мирты быстро сбежали к берегу. Папа вытряхнул над водой банку… Вода вылилась, но карп… Несчастный растопырил плавники и хвостом вперёд застрял в банке и ни с места.

Миша побледнел и сжал маму за руку. «Что же это, мамуся, будет? Что же это, Боже мой, будет?!»

Но папа не растерялся. Подобрал с земли камень, кокнул по банке, стекло, звеня, распалось, и рыба, дрыгнувши в воздухе хвостом, шлёпнулась в воду и исчезла…

Два любопытных лебедя, слово игрушечные парусные корабли, медленно подплывали. Что там такое? Не хлебом ли кормят?

Быстро вернулись на дорожку, точно и не ходили они по запрещённой лужайке. Мама с папой шли впереди. Миша за ними. Шёл и представлял себе, как рыбы окружили карпа и расспрашивают его:

— Ты как сюда попал? Небывалый это случай, чтобы купленную рыбу обратно в воду бросали… У кого ты был?

— У Миши и его родителей. Русские они, эмигранты.

— Ну, благодари Бога. Счастливый ты, карп! А здесь живи, брат, спокойно. Из этого озера ловить рыбу строго воспрещается.

Купальщики

1. Мул

В конюшне душно. Сквозь настежь распахнутую верхнюю половинку двери влетает и вылетает ласточка. У неё над дверью гнездо — пять писклявых ртов, работы до вечера хватит.

Мул косится на ласточку и нетерпеливо лязгает цепью. Почему верхняя поперечная половинка распахнута? Рядом в сарае не гремела высокая двуколка, не скрипели ворота, не хлопались через порог выкатываемые колеса, хозяин не чертыхался на незнакомом языке. Соломенная с дырками шляпка и конусообразный, похожий на кактус, хомут висят на своих колках… Мул хлопает плоским копытом в асфальт — нервничает.

— Купаться так купаться… Чего зря томить? В спину пыль въелась, а почесать нечем…

Знакомая кудлатая голова в шляпе лопухом показывается в солнечном квадрате двери.

— Ну, ты, леший!

Мул улыбается: как старая кокетка, поджимает губу и оттопыривает её ковшиком. «Леший»… Должно быть, это самое ласкательное слово на

незнакомом языке.

Он выходит за человеком в дверь. Человек, не оборачиваясь, идёт среди сосен, заложив за спину руки. Мул за ним с сосновой кисточкой в зубах, — любимая его закуска на свежем воздухе. Сейчас за поворотом сквозь сосновые лапы мелькнёт сине-зелёная полоса: верхняя краска — небо, нижняя — море. Слов этих мул не знает, но на синее так приятно смотреть после конюшенной мглы, а в зеленую, прохладную жидкую краску он сейчас окунёт бока.

Человек по дороге разделся, — под можжевельник бросил штаны, под старую лодку куртку. В полосатых, болтающихся, как на ходулях, трусиках, костлявый и жилистый, в шляпе шлыком, человек сам стал похож на лешего, но мулу не до него. Вошёл, томно подбирая копыта, в зелёное лоно по самое пузо и застыл.

Рука с черпаком нагибается и подымается, окатывает спину. Спина блестит, словно автомобильный кузов, и вздрагивает после каждой порции светлой влаги. Мул опускает в воду морду. Пьёт?.. Разве можно средиземную воду пить, — полынь с солью? Куцый и жидкий хвост, похожий на вставленную из озорства затёртую метёлку, ходит во все стороны: мул наслаждает-

ся, — он полощет рот.

Человек швырнул черпак на песок, напялил на мула свою острую шляпу и поплыл к камню, вскидывая граблями руки. Мул наконец свободен. Без классного наставника.

Осторожно пробуя копытами дно, он входит в море по самую шею, останавливается, глубоко вздыхает и смотрит. На далёкий, расплывающийся в солнечной ряби остров, на выплывающий из-за мыса фрегат, на похожую на розового мула тучу, на чайку, с наглым криком пролетающую взад и вперёд мимо морды…

Косится на прозрачную тихую воду: треугольник за треугольником плывут к нему под водой косяки игольчатых светлых рыбок. Проплывают под пузом, — мул повернул голову, — выплывают с другой стороны… Жук! Мул прислушался и застыл. И кто его знает, если бы снять в этот момент его глаз, только один глаз, показать вам и спросить: «Чей это глаз?» — вы бы, пожалуй, ответили: «Это глаз поэта, который сочиняет стихотворение в прозе»…

Да. Но из моря выходит человек и слизывает катящиеся с носа на губу солёные капли. Мул огорчённо вздыхает, поворачивает под водой своё охлажденное до самой селезёнки крепкое

тело и покорно идёт за человеком на берег.

2. Молодая собака

Мальчик и девочка сидят у воды и сохнут. Сквозь закрытые веки мутно дрожит в глазах оранжевая мгла солнца. Сохнуть ли дальше или опять полезть в воду, разбрасывая коленками весёлые брызги?

Но за спиной льстивый, осторожный визг. Дети переглядываются и на невидимых шарнирах поворачиваются спиной к морю.

— Хэпи, Хэпи, Хэпи! Иди сюда, душечка.

Но душечка Хэпи, собачий недоросль и комик, не хочет. Он смертельно боится воды. И он до сердцебиения, до судороги в ногах обожает мальчика и девочку.

Закатив глаза и горестно повизгивая, прополз он к ним несколько шагов на брюхе, оставив в песке широкую борозду…

…Дальше не решается. Ни за что на свете! Ведь он знает, чем это может для него кончиться.

— Хэпи, Хэпи, Хэпичка!

Он страдает. Извивается, как грешник на раскалённой сковородке, подобострастно вертит хвостом и скулит:

— Пожалуйста… Умоляю вас… Подойдите луч-

ше вы ко мне! Я оближу ваши руки и пятки, перевернусь через голову два и ещё два раза… Отнесу домой в зубах ваши купальные костюмы, хотя солёная вода так противна… только не зовите меня к себе…

Он трёт лапой переносицу, — убедительней жеста у него нет, — и смолкает. Шоколадная помесь гиены с таксой, лягаша с кенгуру, он очень некрасив, бедный Хэпи, но преданнее и нежнее сердца вы не найдёте от Тулона до Ниццы.

Дети снова переглядываются и встают на невидимых пружинках. Девочка заходит справа, мальчик — слева. Они притворяются, что ищут на песке напёрсток, который бабушка потеряла вчера на пляже. Но Хэпи понимает, какой это наперсток…

Всё круче заворачивают к собаке загорелые детские пятки. Удрать? Но разве Хэпи смеет? Он закрывает лапами глаза и дрожит: «Жарьте меня, режьте меня, ешьте меня — я покоряюсь…»

Гибкие детские пальцы подсовываются под брюхо, песок ведь подрыть нетрудно, и отрывают Хэпи от милой, твёрдой земли. Несут…

Девочка на ходу поддерживает вытянутые задние собачьи лапы. Хэпи слабо ими подёргивает, ведь он не смеет по-настоящему сопротивлять-

ся. Всё кончено, всё погибло. Но благородное сердце стало ещё благородней: Хэпи по дороге вскидывает голову и пытается острым языком лизнуть мальчика в глаз, в ухо, в переносицу — куда попадёт.

— Хэпи, перестань! Хэпи, кому я говорю…

Видите — даже целоваться в такую минуту запрещают…

Внизу хлопает страшная, необъятная вода, вверху над мордой качается облако.

Дети зашли в воду по грудь и разжали пальцы. Вскипает бело-зелёный пузырь, и сразу с места в карьер Хэпи поворачивает к берегу. Остервенело гребёт лапами… Пены, как от колёсного парохода! Выпученные глаза впились в берег, ещё шаг, ещё полшага…

Под лапами зашипел песок… Хэпи, словно мокрый Петрушка, с визгом вылетает на пляж, брызги — стеклярусом, и мчится, пронзительно скуля, к гигантской сосне.

Под сосной — передышка. Хэпи не желает, чтобы на нём хоть одна капля морской воды осталась: зарывается в песок, прорывает в нём, раскинув по-тюленьи лапы, траншею и долго валяется за можжевельником на любимой падали, старой бараньей шкурке.

А потом поворачивается к морю и начинает лаять. Не на детей, нет, — разве он смеет? На море.

— Ты зелёная лужа! Гадость, гадость, гадость!

Дети снова сохнут на берегу. На лай Хэпи вскакивают, смеясь, и делают вид, что опять хотят к нему подобраться.

Хэпи не выдерживает: поджимает хвост к животу и галопом мчится к дому сквозь колючие кусты напролом, оглашая залив отчаянной собачьей жалобой:

— Второй раз купаться?! Мучители, терзатели, купатели!

А за спиной подлаивают девочка и мальчик. И до того им вдруг стало весело и смешно, что они, совсем уже во второй раз высохшие, снова бросились в светло-зелёную воду и стали друг друга серебряным морским стеклярусом окатывать.

3. Мальчик с селезнем

Самый маленький житель в русской приморской усадьбе — Боб. Очень деловитый, очень хозяйственный, и забот у него больше, чем у министра земледелия. Жаба у ручья пчёл лопает, — непорядок. Кошка у колодца лучшую дыню выела — надо поймать и наказать. Не для кошек семена из Риги выписывали… Старый кролик,

когда Боб его вчера кормил кочерыжками, отгрыз у Бобиной курточки пуговку и проглотил… Что теперь с ним будет? Касторки ему дать, что ли?

Но одна забота даже и во сне Боба мучит. Колодцы пересохли, в цистернах вода на донышке. Утки на птичьем дворе стучат клювами в сухой, врытый в землю бак и скучают. Перепонки на лапках потрескались… Ведь этак у них чахотка развиться может.

И додумался. Взял старшего селезня и понёс под мышкой к морю. А сзади сдобный, ухмыляющийся дедушка в сине-жёлто-малиновом халате телохранителем поплелся.

Селезень не Хэпи, птица солидная, лапами не дёргает. Сидит важно под мышкой и покрякивает: мальчик знакомый, несёт — значит, так надо.

У воды Боб птицу на песок спустил, к лапе бечёвку привязал, другой конец дедушке в руку сунул:

— Ты, дедушка, не давай утке заплывать… А то она увлечётся, до самой Корсики поплывёт! Знаем мы их…

Боже мой, до чего утка разволновалась… Крылья вверх, на цыпочках подымается, восклицания какие-то утиные издаёт… Сколько воды, ах, сколько воды! И вошёл селезень в воду, поплыл,

бечёвку натянул, шейку выгибает — лебедем прикидывается, ныряет, крыльями себя окачивает… Совсем одурела с радости птица.

Дедушка, само собой, своё дело исполняет: ходит по берегу, верёвочку подёргивает, пасёт в море утку.

А Боб сбоку в воде из старой консервной жестянки селезня поливает, как утром человек мула поливал.

Однако скоро понял селезень, что воды много, да нехорошая какая-то вода: жесткая, солёная, в горло попала, не отчихаешься никак… Потянул селезень к берегу. Боб его назад загоняет, а он упирается. Боб кричит, селезень кричит, дедушка кричит… Добрался всё-таки селезень до берега. Присел наземь и завял. Зачичканный какой-то стал, словно облезлая галка. Клюв раскрыл, тяжело дышит, крыло по песку волочит. Ещё, не дай бог, в обморок упадёт…

И поплелась процессия обратно к дому. Впереди синий Боб с селезнем, оба мокрые, оба дрожат. Сзади сердитый дедушка. А совсем сзади ползком за кустами любопытный Хэпи:

— Что?! Докупались?

Тихая девочка

Утром Тосю будить не надо: просыпается она вместе с цикадами и петухами, — их ведь тоже никто не будит. Проснётся и тихо лежит рядом с матерью, выпростав голые ручки из-под лёгкого одеяла. В оконце качается мохнатая сосновая ветка. Порой присядет на ветку острохвостая сорока, — в самую рань, когда люди ещё спят, она всегда вокруг дома хлопочет. Птица старается удержаться на пляшущей ветке, смешно кланяется клювом, боком топорщит крыло и перебирает цепкими лапками. Шух. И слетает за край окна к веранде. Тося слушает: со стола что-то со звоном летит на пол. Вчера исчезла новая алюминиевая ложечка, должно быть, сорока добирается до вилки. А в кустах над домом взволнованно бормочет другая — подаёт первой сигналы.

Сквозь успокоившиеся сосновые иглы радостно разливается жёлто-румяный солнечный леденец. Если закрыть глаза и быстро снова открыть, кажется, что это и не солнце, а подводный коралловый грот, из которого и выплывать не хочется.

В дверь осторожно скребётся соседний бульдожка. Тося его голос знает, — умоляет, просит,

захлёбывается, будто горло борной кислотой полощет. Но впустить его нельзя… Плюхнется на одеяло, разбудит маму, разобьёт стакан на столике у изголовья. Он ведь любит от всего сердца, что ж ему со стаканами церемониться.

— Уйди! — шепчет девочка, беззвучно шевеля губами. — Уйди, Мушка… Я ещё не проснулась, а мама спит.

Беззвучный шёпот через дверь доходит до чуткого собачьего уха. Мушка разочарованно опускает нос, подымает переднюю лапу, будто защищаясь от обиды, и, виляя задом, плетётся к помойной яме за сосной. Люди спят, можно и не притворяться благоразумным.

А у Тоси новая забота. Сквозь загнутый ветром уголок кисеи в комнату пробралась зловредная муха — овод — и закружилась над маминым лицом. Девочка боится, но нельзя же позволять мухе безобразничать. Тося схватывает со стула свои мотыльковые штанишки и машет на злую тварь, пока та, задетая пуговкой, не слетает на пол. Сама виновата… Там на веранде на клеёнке капли варенья и крошки бисквита, — непременно ей надо кусать маму или мула… Вот и ползай теперь раненая на полу, пока не выметут колючим веником в лес.

Купальный халат в углу, похожий на бедуина из детской книжки, порозовел на солнце. Если посмотреть сквозь пальцы, бедуин превращается в цветущую яблоню. Но только на минуту. Тося по-настоящему не умеет «волшебничать». Только во сне. Но проснёшься, и ничего нет, и ничего не помнишь, будто с одной звезды на другую упала.

Почему никто не встаёт? Примус сонно блестит на столике, — он тоже ждёт, чтобы его разбудили, подлили в чашечки спирта, накачали воздух… Зашипит голубенькой коронкой газ, забулькает в чайнике вода, заворчит мама, будет, как всегда, искать мохнатую тряпку, чтобы схватить горячую ручку. Спят. Тося прислонилась к стенке, подобрала под себя ножки и, боком, томная, как котёнок в тёплых стружках, зарылась опять в подушки. Прохлада заструилась сквозь кисейку, коснулась ресниц. Шмель ударился о мамину цитру, и светлый рокот поплыл-поплыл… Смолк или ещё звенит? Ни за что не уследишь. Что ж, если никто не хочет вставать, стоит ли растирать глаза и бодриться, — второй утренний сон всё равно ведь сильнее.

* * *

Ушки холодные, румяные, крепкие, — мать только что их вымыла студёной водой из колодца. Ветер забавляется — пушит льняные волоски над бровями сквозным одуванчиком. Глаза, прозрачно-синие кукольные стекляшки, серьёзны: кто знает, о чём думает маленькая девочка, когда она утром пьет на веранде какао? Быть может, ни о чем, быть может, над светло-коричневым озером в чашке носится в купальных штанишках лебедёнок и мешает Тосе пить…

— О чём ты думаешь, Тося? — спрашивает её бородатый гость, отрываясь от газеты.

Ни за что на свете Тося на такой вопрос не ответит. Да и гость спросил от нечего делать, перевернул страницу и даже не ждёт ответа.

Перед девочкой круглая сдобная булочка, посыпанная сахарными блёстками. Совсем как игрушечный детский хлеб, хотя и взрослые очень его любят. Ест Тося по-своему: кусочек себе, кусочек бульдожке под столом, не ошибётся до последней крошки. И хотя несправедливые взрослые учат её каждое утро: «Ешь сама, что ж ты чужую собаку сдобной булкой кормишь?» — девочка, как от овода, отмахнётся ложечкой от

скучных слов и продолжает своё.

После какао она свободна до самого обеда. Далеко уходить нельзя, но и вокруг дачи, когда ходишь по ниточке-невидимке, немало забавного. Муравьи подбирают со ступенек сахарные крупинки. У них под пнём подземная лавочка: всё уносят туда. Дачники осенью разъедутся, и у муравьёв запас на всю зиму. Осы облепили под вереском банку из-под сгущенного сладкого молока. Не только дети, кошки, собаки, ящерицы и всякая мелкая тварь, летающая и ползающая, любит сладкое. Крайняя оса, с перехватцем на талии, как у балерины, сосёт свою капельку без конца. Как у неё живот не разболится? Вздрогнет, оторвётся, отдохнёт и опять за своё.

Ос и пчёл девочка не боится. Если их не трогать, не мешать им пить и есть, ходить среди них серьёзно и важно, — они не обидят. Бульдожка и тот это понимает: стоит перед ульем, серым домиком, вывалив язык, и с любопытством смотрит вместе с Тосей, как копошится пчелиный народ на своём крылечке у тёмной щёлочки. Но по низким шершавым кустам расстилается грязная паутина, и в ней всегда узким втянутым устьем вход. Там живут огромные светлопузые пауки. Пройдёшь близко, наступишь на хворостинку, и из норки

выскакивает сердитый противный разбойник: сунься-ка ближе! Тося всегда вежливо, стараясь не шуметь, обходит такие кусты. И шершней она боится: когда взрослые гонят залетевшую злюку из комнаты кто лопатой, кто старыми штанами, девочка зарывается в висящее на стене платье и ждёт, пока представление кончится.

Любит она шум. Не тот, что подымают люди, когда спорят на веранде в восемь голосов сразу, или ссорятся, перебрасываясь картами, или поют рыхлыми голосами непонятные песни, — а когда шумят на свободе деревья, тростник, море. Сосна гудит на ветру гулко и широко; тряхнёт зелёной гривой, залопочет и опять низко-низко зашипит, будто парус по можжевельнику тащат. Тростники внизу у ручья посвистывают, слово ласточки на лету, пищат, просят ветер, чтобы не трепал их, не заставлял кланяться до земли. А сквозь зелёные лесные голоса вдруг: бух-бу-бух. Это море шлёпнулось о песок, обрушило толстую волну… И отходит назад, волочит шлейф по гравию. Тося слушает. У старого каштана свой шум: шелестит, будто сквозь сон бормочет. А нижние лапы молча и плавно покачиваются. До них ветру не пробиться.

Гость злится — ветер унёс деловое письмо в лес.

Мама злится, — ветер «действует ей на нервы»… Нервы — это когда дрожат губы и достаётся всем… И Тосе, и стакану, который стоит не на месте, и бабочке, влетевшей в комнату. Злится и бабушка: ни один пасьянс не удаётся, ветер путает все карты… И только Тося спокойна. Прищурив глаза и заложив худые ручки за спину, стоит она на камне и смотрит в чащу. Где ветер? Какой он? Пепельные волосы, толстые щёки… Ходит по вершинам деревьев, трещит и дует во все стороны. Чтобы внизу не болтали, чтобы человеческого белья между стволами не развешивали, чтоб в лодках среди залива не кричали, чтоб рыб крючками не мучали…

Наслушается Тося лесного скрипа, шуму и шорохов и, как собачка, начинает кружить среди камней и кустов. Ищет тишины. Есть такие складки на скате холма, в русле высохшего ручья, за старыми пнями, куда ветер не добирается. Маленькой девочке немного и нужно, притаится под вереском в ямке из-под вывороченной сосновой пятки и точно на бесшумном острове поселилась. Вдали перекатывается гул, а вокруг неё безмолвное гнездо: цикады где-то в вышине глухо точат свои ножницы, лохматые ветки не шелохнутся. А если повесить перед глазами на

колючем шиповнике синий фартучек и глубже усесться в ямку, — вот у тебя и свой лесной домик, и все муравьи застилают вокруг хвоей все тропинки, чтобы никто до тебя не добрался. Такой приказ отдаёт им маленькая девочка.

Так тихо сидит Тося, что ящерица доползает с камня на камень до её оранжевой туфельки и недоумённо поднимает острый носик: живая девочка или цветок какой-нибудь невиданный. Но когда издали позовут козье молоко пить, ясно, что девочка самая настоящая: встряхнётся, погладит тёплый камень и, раздвинув камыши, пойдёт ровными шажками на призывный голос. Молоко тёплое и так вкусно пахнет тмином и шерстяным шарфом. Первую половину чашки Тося выпивает как следует, а потом начинает медленно сосать сквозь зубы. Молоко пузырится, Тося мотает головой и пофыркивает: она уже не Тося, она козлёнок… Так легче и приятней допить вторую половину чашки.

* * *

Взрослые купальщики сидят на пляже в тёмных очках, все они — и мужчины, и женщины — стали немножко похожи на Бабу-ягу. Скрестили по-паучьи лапы, пересыпают из горсти в горсть песок.

Разговаривают. Но Тосе очков не нужно: чем ярче переливается в воде перламутровая чешуя, тем ей веселее и уютнее. Складывает загоревшие ручки, тихо восхищается и не насмотрится. Вон голубая дорожка протянулась к мысу, чистая и ясная, а по бокам танцуют солнечные пчелки и золотые иглы. Почему дорожка не сливается с пёстрой огненной водой? Или под ней лежат полоской лазурные камушки? Или стайки васильковых рыб проплывают пассионом, пара за парой, под водой, просвечивая сквозь прозрачную зыбь?

Из-за скал выплывает кораблик. Белыми наволочками вздулись паруса. Ни одного человека. На Тосю никто не смотрит, — она подымает на камышинке свою оранжевую туфельку. Это — привет. И ясно видит, только она одна и видит, как поварёнок, негритянский мальчишка, ей в ответ машет связкой бананов. «Плывём на Корсику. Будь здорова! На обед баранина с рисом и кисель…»

Как там у них, должно быть, хорошо, на плавучей даче под прохладными парусами… Поварёнок молча чистит медную кастрюлю. Тося обмахивает его пальмовым веером, чтобы ему было прохладнее, а корабельный барбос, добродушно посматривая на новую пассажирку, прилежно

ищет на животе морскую блоху. Паруса растаяли, затонули в молоке далеких облаков…

— Тося, купаться! Что ж ты сидишь, как принцесса…

Разве принцесса станет сидеть одна без свиты, на старом полотенце, обхватив пальцами острые коленки, и думать о каком-то поварёнке? Но Тося не возражает. Слова каждый день меняются: то она дичок, то недотрога, то принцесса… Пусть. Она послушно идёт в море. Холодная влага лизнула пятки, студёный поясок подымается выше до бёдер, до края трусиков… Тося ласково гладит воду, обливает себе плечики светлым морским стеклярусом. Становится на коленки и делает вид, будто плавает… Чудесно! Песочного цвета игольчатые рыбки проплывают под водой, — им никогда не бывает жарко… Налево под скалой, где вода под прохладной тенью зеленей малахитовой бабушкиной брошки, у них дом. Но в светлые солнечные часы не сидеть же им, рыбьим малышам, там, среди подводных стеблей с большими серьёзными рыбами…

Солнце пропекло насквозь резиновый колпачок, но коленки дрожат. Надо выходить. Маленькая, маленькая сидит Тося в белом волосатом халатике на песке, под большой соломенной

шляпой, словно тихий суслик, и отогревается. Слизнула с губы горько-солёную морскую каплю, вздохнула. Надвинула шляпу по самую пуговку-носик и сквозь гнёзда плетенья смотрит: в каждой сквозной дырочке крохотная панорама — клочок неба и моря и сбоку сосновая лапа. Будто японская картинка.

В стороне визжат голоногие французские дети. Тося поворачивает голову. Смешные… Вырыли в песке яму, провели в море канал, наливают в яму из ведёрка морскую воду, а вода вся удирает в море, домой… Толкают друг дружку, обливают из ведёрка и заливаются. Но Тося к ним не идёт. Ей и так весело смотреть на них, а толкаться и визжать она не умеет.

А вот и старшие мальчишки придумали игру. Посадили лягавого щенка в плоскодонный ботик и столкнули одного в море… Им, глупым, забава, а щенок весь съёжился, подобрал лапы, качается на носу, плюхается на дно, наваливается на борт и жалобно оглядывается на берег. Где земля, милая, твёрдая собачья земля? Тося остро переживает с ним каждый толчок, и, пожалуй, у неё сердце колотится ещё сильнее, чем у щенка. Какой неуклюжий? Почему он не прыгнет в море? Поплыл бы, поплыл и сейчас же и мель… Зачем это они

с ним проделали? И взрослые тоже хохочут. Такие большие, сильные, и никто не догадается заступиться… В маленькой Тосиной жизни её ещё никто не учил, что справедливо, что несправедливо. Но, как трава растёт, как солнце светит — детская правда и жалость приходит сама. Если приходит…

Но, слава богу, ветер добрее мальчишек. Повернул лодку, и щенок мешком в воду. Гребёт, гребёт боком, подальше от мучителей. Стеклянные брызги во все стороны — и умчался в лес.

Тося улыбается. Хорошо ещё, что они не посадили в лодку кошку или курицу. Она встаёт из своего халатика, он лепестком оседает на песок, и, смуглая, как фешек, идёт в дюны. Вон они рядом, игрушечные, сыпучие холмики с сизыми колючками по краям. Сегодня под знакомой сосной должны распуститься морские лилии, француз фермер называет их морскими нарциссами. Вчера бутоны были совсем пухлые, бледно-зелёные, с бледными продольными каёмками. Раскрылись. И опять, как у моря, маленькая девочка складывает ладошки и разнимает: когда она откроет на свете какое-нибудь новое чудо, она всегда так делает, пока она к нему ещё не привыкла…

Лилии, стрельчатые строгие цветы, тише моря,

тише неподвижных облаков, — вздымаются и благоухают. В игольчатых лепестках — коронка, в коронке — бледно-жёлтые молоточки… Тося наклоняется. Если лилии видят, понимают, чувствуют, конечно, они с таким же умилением смотрят на незнакомую маленькую девочку, как она на них.

Тося по глубоким песчаным волнам дюн, мимо ярко-изумрудных побегов гигантской сосны, пробирается дальше. Там за бугром в море впадает тёмным рукавом речушка. В камышах, сонная и застывшая. Если стоять тихо — увидишь, как в чёрной воде, извиваясь серыми жгутами, скользят ужи. Немножко страшно… Там, среди тёмных корней, шевелится всякая нечисть, со дна всплывают пузырьки, в камышах кто-то шуршит. Жабы или гадюки? Тося морщит лобик. У неё ещё нет своих слов, но злое и безобразное ей непонятно — она не знает, зачем оно, почему гадюки всегда злятся, а огромные серые, сухие жабы так ужасны, что как ни стараешься ласково взглянуть на них, — вздрогнешь и отвернёшься.

Она поворачивается к берегу. Дети угомонились, лежат кружком на песке и греют спинки. На сосновой коре горит светлая смолистая капля. Большой чёрный муравей приклеился и никак

не может вытащить из смолы лапки. Хорошо, что его увидела маленькая чужая девочка, а то так бы и пропал…

— Тося, домой!

Она слушает — ветер принёс её имя, но она ещё не Тося, а так, лесной гномик, что ли… В самом деле, домой, домой. Ведь пора обедать: суп, ложка, полосатые занавески вокруг веранды.

И снова, проходя мимо молчаливых лилий, кивает им головой, — никто ведь не видит и не будет над ней смеяться. До завтра!

* * *

В стакане из-под горчицы стоит ветка цикория, который кладут в кофе — сморщенные бурые кусочки, — а цветы лазорево-дымчатого цвета, похожие на васильки. Васильки Тося видала только на картинке. После дождя весь луг за холмами, у моря, заголубел цикорием. Тося рассматривает милые, простые цветы и отгоняет сонных мух, которые всё примащиваются на ветку спать… Сквозь дремлющие сосны пылает вишнёвый закат. Крылатое лесное население со всех сторон слетается к веранде: острогрудые гранатовые бабочки, длинноногие жучки и слюдяные блекло-зелёные мотыльки… Зажгут лампу, и все они,

глупые несчастные чудаки, закружатся вокруг керосинового маяка, затрещат и погибнут. И без того такая коротенькая у них жизнь. Ну, лети к звезде, лети к луне, — зачем же к лампе?

Взрослые играют в ведьму. У кого на руках останется пиковая дама, тот и «ведьма», даже если он мужчина. Тося уже знает: ведьма это вроде Бабы-яги, только иногда она бывает красивая и всегда делает разные гадости. У девочки сегодня своя забава. Она пристально разглядывает каждого из сидящих за столом, точно впервые их видит, и представляет себе, какими они были маленькими…

Бородатый гость — инженер, наверное, всё строил на полу из спичек мосты, а когда на них наступали, ревел и колотил линейкой по ножке стола… Няня его всё причесывала, а он сейчас пальцы в волосы и ходит, как лохматый куст. И так как у него не было бороды, которую он теперь всё прикусывает зубами, он прикусывал кончик своего языка… Бабушка была толстенькой сдобной пышкой, сосала целый день мятные лепёшки и всё делала своим куклам ленивые замечания. Мама? Говорила-говорила без конца: с котенком, с чайником, сама с собой, с почтальоном и три раза в день меняла бантики. И была такая красивая,

что весь Саратов удивлялся. Усиков у неё тогда ещё не было. Зачем же девочке усики?.. Сосед, старичок, моряк, вырезывал из коры лодочки, никогда не сажал клякс ни в тетрадку, ни на штанишки и был чистенький и аккуратненький, как смазанное маслом пасхальное яичко… Всем тётям целовал ручку, а иногда по рассеянности и плечико.

— Тося, поди узнай у художника, который час, — говорит бабушка, озабоченно сдвигая пухлые бровки. Должно быть, вытащила у соседа «ведьму»…

Тося идёт на дачу через дорогу. На крылечке сидит чубастый художник и сосёт, чтобы отучиться курить, искусственную папироску.

— Добрый вечер. Бабушка просила у вас узнать, который час.

Художник тычет пальцем в один карман, в другой, в третий. Посмотрел даже себе за пазуху. Выудил наконец из кармашка на поясе толстые часы, чиркнул спичкой и сказал:

— Остановились. Теперь, должно быть, около девяти.

— «Около». Это больше девяти или меньше? — вежливо допытывается Тося.

— Меньше, — художник ухмыляется и сипло

посасывает свой мундштук.

— Ещё не отучились? — участливо, словно тяжелобольного, спрашивает девочка художника.

Он только рукой махнул. Тося опять на своей табуреточке. Бульдожка тихо-тихо лижет ей коленку. Ему ничего не надо, ни сахару, ни бисквита, — просто любит и больше ничего. Тося перебирает ласковыми пальцами тёплое собачье ушко и смотрит на звёзды.

В детской книжке много раз рассматривала она карты звёздного неба. Всех карт четыре: звёздное небо весной, летом, осенью и зимой. По чёрному фону все созвездия разлеглись в фигурках, обведённых белой полоской. Над головой забияка Геркулес. На юге, похожий на лангусту, Скорпион. На севере, немножко справа, толстая Большая Медведица. На востоке — летящий Лебедь. На западе лысый старик Арктур погоняет двух собак. Но без карты, в настоящем небе, ни одного созвездия, кроме Большой Медведицы, не узнать. Звёзды искрятся, роятся, сливаются, — прищуришь глаза — за большими мигают малые, за ними ещё поменьше, как пылинки толчёного стекла… Веранда улетела в небо. Тося на ней одна, — ни гостей, ни бабушки, ни мамы… Чуть-чуть долетают до земли далёкие голоса.

Только тёплый бульдожка под ногами. Тёмно-синяя пустыня вся в мохнатых светляках: плывут, словно снежные хлопья, задевают по лицу, но не жгутся, — они холодные, как льдинки. Скользят между пальцами, ни одного не поймать… И вдруг с земли знакомый мамин голос:

— Тосик, спать…

Девочка очнулась. Прощается, целуется, уходит. Она не знает, что она сегодня увидит во сне, — хорошо бы Снежную Королеву, она умная и многое бы Тосе объяснила…

Девочка старательно полощет зубки и прислушивается: сверчок опять чирикнул за комодом. Значит, поселился совсем, перебрался из леса на дачу. Бабушка говорит, что это «к счастью». А «счастье» — это когда нет болезней, счастье — это когда разыщут папу, счастье — это когда в срок платят за квартиру…

Никто не знает, никто об этом не думает, что на всём южном лукоморье, где стоит дачка с русскими жильцами, — маленькая, тихо спящая девочка Тося — самое совершенное Божье создание. Даже Тосина мама этого не знает. И только бульдожка, глупенький собачий увалень, смутно догадывается: бродит под оконцем за верандой, смотрит на неподвижную белую скамейку и

вздыхает.

Дневник фокса Микки

О Зине, о еде, о корове и т. п.

Моя хозяйка Зина больше похожа на фокса, чем на девочку: визжит, дрыгает, ловит руками мяч (ртом она не умеет) и грызёт сахар, совсем как собачонка. Всё думаю — нет ли у неё хвостика? Ходит она всегда в своих девочкиных попонках; а в ванную комнату меня не пускает, — уж я бы подсмотрел.

Вчера она расхвасталась: видишь, Микки, сколько у меня тетрадок. Арифметика — диктовка — сочинения… А вот ты, цуцик несчастный, ни говорить, ни читать, ни писать не умеешь.

Гав! Я умею думать, — и это самое главное. Что лучше: думающий фокс или говорящий попугай? Ага!

Читать я немножко умею: детские книжки с самыми крупными буквами.

Писать… Смейтесь, смейтесь (терпеть не могу, когда люди смеются)! — писать я тоже научился.

Правда, пальцы на лапах у меня не загибаются, я ведь не человек и не обезьяна. Но я беру карандаш в рот, наступаю лапой на тетрадку, чтобы она не ёрзала, — и пишу.

Сначала буквы были похожи на раздавленных

дождевых червяков. Но фоксы гораздо прилежнее девочек. Теперь я пишу не хуже Зины. Вот только не умею точить карандашей. Когда мой иступится, я бегу тихонько в кабинет и тащу со стола отточенные людьми огрызочки.

* * *

Ставлю три звёздочки. Я видал в детских книжках, — когда человек делает прыжок к новой мысли, — он ставит три звёздочки…

Что важнее всего в жизни? Еда. Нечего притворяться! У нас полон дом людей. Они разговаривают, читают, плачут, смеются, — а потом садятся есть. Едят утром, едят в полдень, едят вечером. А Зина ест даже ночью: прячет под подушку бисквиты и шоколадки и потихоньку чавкает.

Как много они едят! Как долго они едят! Как часто они едят. И говорят ещё, что я обжора…

Сунут косточку от телячьей котлетки (котлетку сами съедят!), нальют полблюдца молока — и всё.

Разве я пристаю, разве я прошу ещё, как Зина и другие дети? Разве я ем сладкое — клейстер, который называется киселём, или жидкую гадость из чернослива и изюма, или холодный ужас, который они называют мороженым? Я деликат-

нее всех собак, потому что я породистый фокс. Погрызу косточку, съем, осторожно взяв из рук Зины, бисквит, и всё.

Но они… Зачем эти супы? Разве не вкуснее чистая вода?

Зачем эти горошки, морковки, сельдерейки и прочие гадости, которыми они портят жаркое?

Зачем вообще варить и жарить?

Я недавно попробовал кусочек сырого мяса (упал на кухне на пол, — я имел полное право его съесть!)… Уверяю вас, оно было гораздо вкусней всех этих шипящих на сковородке котлет…

И как было бы хорошо, если бы не варили и не жарили! Не было бы кухарок, — они совсем не умеют обращаться с порядочными собаками. Ели бы все на полу, без посуды, — мне было бы веселей. А то всегда сидишь под столом, среди чужих ног. Толкаются, наступают на лапы. Подумаешь, как весело!..

Или ещё лучше: ели бы на траве перед домом. Каждому по сырой котлетке. А после обеда все бы барахтались и визжали, как Зина со мной… Гав-гав!

Меня называют обжорой (выпил глоток молока из кошкиного блюдца, подумаешь)…

А сами… После супа, после жаркого, после ком-

пота, после сыра — они ещё пьют разноцветные штуки: красную — вино, жёлтую — пиво, чёрную — кофе… Зачем? Я зеваю под столом до слёз, привык около людей околачиваться, а они всё сидят, сидят, сидят… Гав! И всё говорят, говорят, говорят, точно у каждого граммофон в животе завели.

* * *

Три звёздочки.

Новая мысль. Наша корова — дура. Почему она даёт столько молока? У неё один сын — теленок, а она кормит весь дом. И чтоб давать столько молока, она весь день ест, ест свою траву, даже смотреть жалко. Я бы не выдержал. Почему лошадь не даёт столько молока? Почему кошка кормит своих котят и больше ни о ком не заботится?

Разве говорящему попугаю придёт в голову такая мысль?

И ещё. Почему куры несут столько яиц? Это ужасно. Никогда они не веселятся, ходят, как сонные мухи, летать совсем разучились, не поют, как другие птицы… Это всё из-за этих несчастных яиц.

Я яиц не терплю. Зина — тоже. Если бы я мог объясниться с курами, я бы им отсоветовал нести

столько яиц.

Хорошо всё-таки быть фоксом: не ем супа, не играю на этой проклятой музыке, по которой Зина бегает пальцами, не даю молока и «тому подобное», как говорит Зинин папа.

Трах! Карандаш надломился. Надо писать осторожнее — кабинет на замке, а там все карандаши.

В следующий раз сочиню собачьи стихи, — очень это меня интересует.

Фокс Микки,
первая собака, умеющая писать

Стихи, котята и блохи

Взрослые всегда читают про себя. Скучные люди эти взрослые, — вроде старых собак… А Зина — читает вслух, нараспев и всё время вертится, хлопает себя по коленке и показывает мне язык. Конечно, так веселей. Я лежу на коврике, слушаю и ловлю блох. Очень это во время чтения приятно.

И вот я заметил, что есть такие штучки, которые Зина совсем по-особому читает: точно котлетки рубит. Сделает передышку, языком прищёлкнет и опять затарахтит. А на конце каждой строчки, — ухо у меня тонкое, — похожие друг на друга кусочки звучат: «дети — отца, сети — мертвеца»… Вот это и есть стихи.

Вчера весь день пролежал под диваном, даже похудел. Всё хотел одну такую штучку сочинить. Придумал — и ужасно горжусь.

По веранде ветер дикий
Гонит листья всё быстрей.
Я весёлый фоксик Микки,
Самый умный из зверей!

Замечательно! Сочинил и так волновался, что даже не мог обедать. Подумайте! Это первые в мире собачьи стихи, а ведь я не учился ни в гимназии, ни в «цехе поэтов»... Разве наша кухарка сочинит такие стихи? А ведь ей сорок три года, а мне только два. Гав! Эта кубышка Зина и не подозревает, кто у неё живёт в доме... Запеленала меня в салфетку, уткнула в колени и делает мне замшевой притиралкой маникюр. Молчу и вздыхаю. Разве девочка что-нибудь путное придумает?

И вот, лёжа, пробовал прочесть про себя свои стихи наоборот. Тяв! Может быть, так ещё звончей будет?..

Дикий ветер веранде по
Быстрей всё листья гонит...
Микки фоксик весёлый я,
Зверей из умный самый...

Ай-ай-ай! Что же это такое?

Котята! Скажите, пожалуйста!.. Их мать хитрая тварь, исчезает в парке на весь день: шмыг — и нету, как комар в ёлке. А я должен играть с её детьми... Один лижет меня в нос. Я тоже его лизнул, хотя зубы у меня почему-то вдруг щёлкнули... Другой сосёт моё ухо. Мамка я ему, что

ли? Третий лезет ко мне на спину и так царапается, словно меня тёркой скребут. Р-р-р-р! Тише, Микки, тише… Зина хохочет и захлёбывается: ты, говорит, их двоюродный папа.

Я не сержусь: надо же им кого-нибудь лизать, сосать и царапать… Но зачем же эта девчонка смеётся?

Ах, как странно, как странно! Сегодня бессовестная кошка вернулась наконец к своим детям. И, знаете, — когда они бросили меня и полезли все под свою маму, — я посмотрел из-под скатерти, задрожал всей шкурой от зависти и нервно всхлипнул. Непременно напишу об этом стишок.

Ушёл в аллею. Не хочу больше играть с котятами! Они не оценили моего сердца. Не хочу больше играть с Зиной! Она вымазала мне нос губной помадой…

Сделаюсь диким фоксом, буду жить на каштане и ловить голубей. У-у-у!

* * *

Видел на граммофонной пластинке нацарапанную картинку: фокс сидит перед трубой, склонил голову набок, свесил ухо и слушает. Че-пу-ха! Ни один порядочный фокс не будет слушать эту хрипящую, сумасшедшую машину. Если бы я был

Зинин папа, уж я бы лучше держал в гостиной корову. Она ведь тоже мычит и ревёт, да и доить ее удобней дома, чем бегать к ней в сарай. Странные люди…

С Зиной помирился: она катала по паркету игрушечный кегельный шар, а я его со всех ног ловил. Ах, как я люблю все круглое, все, что катится, всё, что можно ловить!..

Но девочка… всегда останется девочкой. Села на пол и зевает. «Как тебе, Микки, не надоест сто раз делать одно и то же?»

Да? У неё есть кукла и книжки и подруги, папа её курит, играет в какие-то дурацкие карты и читает газеты, мама её всё время одевается и раздевается… А у меня только мой шар, — и меня ещё попрекают!

Ненавижу блох. Не-на-ви-жу. Могли бы, кажется, кусать кухарку (Зину мне жалко), так нет: целый день грызут меня, точно я сахарный… Даже с котят все на меня перескочили. Ладно! Пойду в переднюю, лягу на шершавый коврик спиной книзу и так их разотру, что они в обморок попадают. Гав-гав-гав!

Затопили камин. Смотрю на огонь. А что такое огонь — никому не известно.

Фокс Микки,
Собака-поэт,
Умнее которой в мире нет…

Разные вопросы, мой сон и мои собачьи мысли

Вопросом называется такая строчка, в конце которой стоит рыболовный крючок: вопросительный знак.

Меня мучают пять вопросов:

Почему Зинин дядя сказал, что у него «глаза на лоб полезли»? Никуда они не полезли, я сам видел. Зачем же он говорит глупости? Я прокрался к шкафу, сел перед зеркалом и изо всех сил закатил кверху глаза. Чушь! Лоб вверху и глаза на своём месте.

Живут ли на Луне фоксы, что они едят и воют ли на Землю, как я иногда на Луну? И куда они деваются, когда лунная тарелка вдруг исчезает на много дней неизвестно куда?.. Микки, Микки, ты когда-нибудь сойдёшь с ума!

Зачем рыбы лезут в пустую сетку, которая называется вершей? Раз не умеешь жить над водой, так и сиди себе тихо в пруду. Очень мне их жалко! Утром плавали и пускали пузыри, а вечером перевариваются в тёмном и тесном человеческом желудке. Да ещё гнусная кошка все кишочки по

саду растаскала…

Почему Зинина бонна всё была брюнеткой, а сегодня у неё волосы, как соломенный сноп? Зина хихикнула, а я испугался и подумал: хорошо, Микки, что ты собака… Женили бы тебя на такой попугайке, — во вторник она чёрная, в среду — оранжевая, а в четверг — голубая с зелёными полосками… Фу! Даже температура поднялась.

Почему, когда я себя веду дурно, на меня надевают намордник, а садовник два раза в неделю напивается, буянит, как бешеный бык, — и хоть бы что?! Зинин дядя говорит, что садовник был контужен, и поэтому надо к нему относиться снисходительно. Непременно узнаю, что такое «контужен», и тоже контужусь. Пусть ко мне относятся снисходительно.

Пойду догрызу косточку (я спрятал её… где?.. а вот не скажу!). Потом опять попишу.

* * *

Ах, что я видел во сне! Будто я директор собачьей гимназии. Собаки сидят по классам и учат «историю знаменитых собак», «правила хорошего собачьего поведения», «как надо есть мозговую кость» и прочие подходящие для них штуки.

Я вошёл в младший класс и сказал: «Здрав-

ствуйте, цуцики!» — «Тяв, тяв, тяв, господин директор!» — «Довольны вы ими, мистер Мопс?» Мистер Мопс, учитель мелодекламации, сделал реверанс и буркнул: «Пожаловаться не могу. Стараются». — «Ну, ладно. Приказываю моим именем распустить их на полчаса».

Боже мой, что тут поднялось! Малыши бросились на меня всей ватагой. Повалили на пол… Один вылил на меня чернильницу, другой уколол меня пером в кончик хвоста, — ай! Третий стал тянуть моё ухо вбок, точно я резиновый… Я завизжал, как паровоз, — и проснулся. Луна. На полу сидит таракан и подъедает брошенный Зиной бисквит. За окном хлопает ставня. Уй-юй-юй!..

Зинина комната на запоре. Я прокрался в закоулок за кухней и свернулся на коврике у кухаркиной кровати. Конечно, я её не люблю, конечно, она храпит так, что банки дребезжат на полке, конечно, она высунула из-под одеяла свою толстую ногу и шевелит во сне пальцами… Но что же делать?

Окно побелело, а я всё лежал и думал, что означает мой сон? У кухарки есть затрепанная книга — «сонник». Она часто перелистывает её пухлыми пальцами и всё вычитывает по складам про какого-то жениха. Подумаешь, кто на такой

сковородке женится?..

Но что мне «сонник»? Собачьих снов в нём всё равно нету… А может быть, сон был мне в руку? То есть в лапу.

* * *

Мысли:

Вода замерзает зимой, а я каждое утро. Самое гнусное человеческое изобретение — ошейники, обтянутые собачьей кожей. Зачем наш сосед пашет землю и сеет хлеб, когда рядом с его усадьбой есть булочная? Когда щенок устроит совсем-совсем маленькую лужицу на полу, — его тычат в неё носом; когда же то же самое сделает Зинин младший братишка, пелёнку вешают на верёвочку, а его целуют в пятку… Тыкать, так всех! Дрался с ежом, но он нечестный: спрятал голову, и со всех сторон у него колючий зад. Р-р-р! Это что ж за драка?.. Ел колбасу и проглотил нечаянно колбасную верёвочку. Неужели у меня будет аппендицит?!.

Зина пахнет миндальным молоком, мама её — тёплой булкой, папа — старым портфелем, а кухарка… многоточие…

Больше мыслей нету. Взы! Почему никто не догадается дать мне кусочек сахару?

Фокс Микки,
которому по-настоящему следовало
бы быть профессором

Осенний кавардак

Осень. Хлюпает дождик. Как ему не надоест целый день хлюпать? Жёлтые листья всё падают, и скоро деревья будут совсем лысые. А потом пойдут туманы, — большая собака заберётся в будку и будет храпеть с утра до вечера. Я иногда хожу к ней в гости. Но она глупая и необразованная: когда я с ней играю и осторожно цапаю её за хвост, она бьёт меня лапой по голове и хватает зубами поперёк живота. Деревенщина!

Туманы-туманы-туманы. Грязь-грязь-грязь. И вдруг потянет теплом. Налетят со всех сторон сумасшедшие птицы. Небо станет как вымытая Зинина голубая юбка, и на чёрных палках покажутся зелёные комочки. Потом они лопнут, развернутся, зацветут… Ох, хорошо! Это называется — весна.

Деревья, вот даже старые, молодеют каждую весну. А люди и взрослые собаки — никогда. Отчего? Вот Зинин дядя совсем лысый, вся шерсть с головы облезла, точь-в-точь — биллиардный шар. А вдруг бы у него весной на черепе зелёная травка выросла? И цветочки?

Или чтоб у каждой собаки в апреле на кончике

хвоста бутон распускался?..

Всё бы я на свете переделал. Но что же может маленький фокс?

А в доме — кавардак. Снимают ковры, пересыпают каким-то на-фта-ли-ном. Ух, как от него чихаешь! Я уж в комнаты и не хожу. Лежу на веранде и лапой тру нос. Ведь я же всегда хожу босиком, к лапам и пристаёт. Прямо несчастье!

* * *

Зина собирает свои книжки и мяучит. Братец её лежит в своей колясочке перед клумбой и визжит, как щенок. И только я, фокс Микки, кашляю, как человек, скромно и вежливо: у меня бронхит.

Пусть, пусть собирается. Ни за что я в Париж не поеду. Спрячусь у коровы в соломе — не разыщут.

Ну, что там в Париже, подумайте? Был один раз, возили к собачьему доктору. Улиц — миллион, а миллион — это больше, чем десять. Куда ни посмотришь — ноги, ноги и ноги. Автомобили, как пьяные носороги, летят, хрипят — и все на меня!.. Я уж Зининой юбки из зубов не выпускал. Цепочка — тянет, намордник жмёт. Как они могут жить в таком карусельном городе!..

Ни за что! Чтоб я сидел у окна и смотрел на вывеску с дамской ногой? Чтоб меня консьержка называла «поросёночком»? Чтоб меня гоняли с кресел и с дивана?!. Чтоб меня попрекали, что я развожу в доме блох?!. Я ж их не фабрикую, — они сами разводятся…

И какие там гнусные собаки! Бульдоги с растопыренными лапами, вывороченной мордой и закушенными языками; полосатые доги, похожие на мясников; мопсы вроде жаб, зашитых в собачью шкуру; болоночки — волосатые насекомые с висячими ушами и мокрыми глазами… Фу! Гав-гав! Фу! Отчего это собаки такие разные, а кошки все на один фасон? И, знаете, — это, впрочем, Зина сказала, — они все похожи друг на друга: хозяева на своих собак, и собаки на своих хозяев. А Микки и Зина? Что ж, и мы похожи: только бантики у нас разные — у неё зелёный, а у меня жёлтый.

Ах, как из дверей дует! Пальто на диване, а укрыться не умею. Нет, что ни говори, — руки, иногда, вещь полезная.

* * *

Грузовик забрал вещи. В столовой — бумаги и сор. Зачем это люди переезжают с места на место?

Дела, уроки, квартира… «Собачья жизнь!» — говорит Зинин папа. Нет уж, собачья лучше, это позвольте мне знать.

Меня оставляют. Подружусь с дворовой собакой, ничего не поделаешь. Зина говорит, чтоб я не плакал, обещает раз в неделю приезжать, если я буду себя хорошо вести. Буду! Очень я её люблю: я ее сегодня лизнул в глаз, а она меня в нос. Чудесная девочка!

Садовнику приказали меня кормить. Пусть попробует не кормить, — я у него все бутылки перебью! Да и мясник меня любит: каждый раз, когда приезжает, что-нибудь даст. Котята выросли, быстро это у них делается… Совсем меня забыли и носятся по парку, как оглашенные (что это такое «оглашенные»?). Придётся и с ними подружиться…

Но самое обидное: кончается мой последний карандашный огрызок. А с письменного стола всё убрали. Ах, зачем я не догадался взять про запас! Прощай, мой дневник… Я уж Зину так умолял, так умолял, — за платье дёргал, перед письменным столом служил, но она не понимает и всё мне шоколадки в рот суёт. Вот горе! Без рук тяжело, а без языка — из лап вон плохо!..

Моя золотая-серебряная-бриллиантовая тет-

радка. Суну тебя под шкаф, лежи там до будущей весны…

Ай-ай! Гав! Зина заметила, что я пишу… Идёт ко мне! Отнима…

Я один

В доме никого нет. Во все щели дует собачий ветер (почему собачий?). Вообще, ветер дурак: дует в голом парке, а там и сорвать нечего. На дворе ещё кое-как с ним справляюсь: стану спиной к ветру, голову вниз, ноги расставлю — и «наплевать», как говорит садовник.

А в комнате никуда от этого бандита не спрячешься. Врывается из-под двери, сквозь оконные щёлочки, сквозь каминную дыру, и так пищит, и так скулит, и так подвывает, точно его мама была собакой. Ни морды, ни глотки, ни живота, ни зада у него нет. Чем он дует — понять не могу…

Забираюсь под диванную подушку, закрываю глаза и стараюсь не слушать.

Отдал бы полную чашку с овсянкой (ужасная гадость!), если бы мне кто-нибудь объяснил, зачем осень, зачем зима? В аллее такая непроходимая грязь, какую я видал только под носорогом в зоологическом саду. Мокро. Голые ветки хлопают друг о друга и чихают. Ворона, облезшее чучело, дразнится: «Кра, — почему тебя не взяли в город?»

Потому что сам не захотел! А теперь жалко,

но держусь молодцом. Вчера только поплакал у камина, очень уж гадко в темноте и сырости. Свечку нашёл, а зажечь не умею. У-у-у!

К садовнику не хожу. Он сердится, почему у меня лапы всегда в грязи? В сабо мне ходить, что ли?

Ах, ах… Одна только радость — разыскал в шкафу позабытую сигарную коробку с карандашами, стянул в буфетной приходо-расходную книжку и вот опять веду свой дневник.

Если бы я был человеком, непременно издавал бы журнал для собак!

* * *

Скребутся мыши. Хотя фоксам это не полагается, но я очень люблю мышей. Чем они виноваты, что они такие маленькие и всегда хотят есть?

Вчера один мышонок вылез и стал катать по полу прошлогодний орех. Я ведь тоже люблю катать всё круглое. Очень хотел поиграть с ним, но удержался: лежи, дурак, смирно! Ты ведь большой, как слон: напугаешь малыша, и он больше не придёт. Разве я не умница?

Сегодня другой до того осмелел, что взобрался на диван и понюхал мою лапу. Я прикусил язык и вздрогнул. Тяф! Как я его люблю!

Вот только как их отличать одного от другого?..

Если кошка посмеет их тронуть, я её загоню на самую высокую ёлку и целый день сторожить буду… Гав! Дрянь! Ненавижу!..

Почему ёлки всю зиму зелёные? Думаю, потому, что у них иголочки. Ветру листья оборвать не штука, а иголочки — попробуй! Они тоненькие — ветер сквозь них и проходит, как сквозь решето…

* * *

До чего я исхудал, если бы вы знали. Зинина тётя была бы очень довольна, если бы была теперь похожа на меня. Она ведь всё похудеть хочет. А сама целый день всё лопает и затягивается.

Проклятый садовник и консьерж сговорились: съедают всю провизию сами, а мне готовят только эту ужасную овсянку, Дворовому псу дают большие кости и суп с чёрствым хлебом. Он со мной делится, но где ж мне разгрызть такую кость, когда она твёрже утюга? А суп… Таким супом в бистро тарелки моют!

Даже молока жалеют, жадины! Молоко ведь даёт корова, а не они. Уж я бы её сам подоил: мы с ней дружны, и она мне всегда в глаза дышит,

когда я прибегаю в сарай. Но как я её буду доить моими несчастными лапами?..

Придумал штуку. Стыдно очень, но что ж делать, — есть надо. Когда дождь утихнет, бегаю иногда в соседнее местечко к знакомому бистровщику. У него по вечерам под граммофон танцы. Пляшут фокстрот. Должно быть, собачий танец.

Я на задние лапки встану, живот подтяну, верчусь и головой киваю.

Все пары и танцевать бросят… В кружок соберутся и хохочут так, что граммофона не слышно.

И уж такую порцию мяса мне закажут, что я еле домой добираюсь. Да ещё телячью косточку в зубах принесу на завтрак…

Вот до чего ради голода унижаться приходится!

Жаль только, что нет другой маленькой собачки. Мы бы с ней танцевали вдвоём и всегда были сыты.

* * *

Надо записать все свои огорчения, а то потом забуду.

Петух ни с того ни с сего клюнул меня в нос. Я только подошёл поздороваться… Зачем же драться, нахал горластый?!. Плакал, плакал, сунул нос

в корытце с дождевой водой и до вечера не мог успокоиться…

Зина меня забыла!

В мою чашку с овсянкой забрался чёрный таракан, задохся и утонул. Какая мерзость! Птицы, кроме петухов, туда-сюда; кошки — гадость, но всё-таки звери. Но кому нужны чёрные тараканы?!.

На шоссе чуть не попал под автомобиль. Почему он не гудел на повороте?!. Почему обрызгал меня грязью?!. Кто меня отмоет? Ненавижу автомобили! И не по-ни-ма-ю…

Зина меня забыла!

Спугнул в огороде дикого кролика и налетел на колючую проволоку. Уй-ю-юй, как больно! Зина говорила, что, если порежешься ржавым железом, надо сейчас же смазаться йодом. Где я возьму йод? И йод ведь щиплет, — я знаю…

Мыши проели в моём дневнике дырку. Никогда больше не буду любить мышей!

Зина меня забыла…

Сегодня нашёл в биллиардной кусочек старого шоколада и съел. Это, правда, не огорчение, а радость. Но радостей так мало, что не могу же я для них отдельную страницу отводить.

Одинокий, несчастный, холодный и

голодный фокс Микки

Переезд в Париж

Вы любите чердаки? Я — очень. Люди складывают на чердаках самые интересные вещи, а по комнатам расставляют скучные столы и дурацкие комоды.

«Когда сердце моё разрывается от тоски», — как говорит Зинина тётя, — я прибегаю из голого парка, вытираю о диван лапы и бегу на чердак.

Над стеклом в потолке пролетают воробьи: они вроде мышей, только с крылышками. «Чик-чивик!» — «Доброе утро, силь ву пле!»

Потом здороваюсь со старой Зининой куклой. У неё чахотка, и она лежит в пыльной дырявой ванне, задрав кверху пятки. Я её перевернул, чтобы всё было прилично… Поговорил с ней о Зине.

Да, конечно: сердце девочки — одуванчик. Забыла куклу, забыла Микки. А потом у неё появится дочка, и всё начнётся сначала… новая дочка, новая кукла, новая собачка. Апчхи! Как здесь пыльно!

Обнюхал разбитую люстру, лизнул резиновую собачку — у неё, бедной, в животе дыра… разорвал в клочки собачью плётку…

«И скучно, и грустно, и некому лапу пожать!..»

Если бы я был сильнее, я бы отодвинул старую ванну и устроил себе на чердаке комнату. Под раненый диван подставил бы попугайскую клетку: это моя спальная. На китайском биллиарде устроил бы себе письменный стол. Он покатый — очень удобно писать!

Уборную устрою на крыше. Это и «гигиенично», и приятно. Буду лазить, как матрос, по лестничке в слуховое окошко…

А намордник свой заброшу в дымовую трубу!!. Апчхи!.. Чихнул, — значит, так и будет.

Ай! На шоссе экипаж… Чей? Чей? Чей? И-и-и! Зина приеха…

* * *

Третью неделю живу в Париже, — 16, рю д'Ассомпсион, телефон Отей 12–37. Третий этаж направо. Кордон, силь-ву-плэ!

Вы бы меня и не узнали: лежу у камина на подушечке, как фарфоровая кошка. Пахнет от меня сиреневым мылом, сбоку зелёный галстук. На ошейнике серебряная визитная карточка с адресом… Если бы я умел говорить, украл бы франк и купил себе манжетки.

Зина в школе… На соседнем балконе сидит преотвратительная собачонка. В ушах пакля, в

глазах пакля, на губах пакля. Вообще, какая-то слезливая муфта, мусорная тряпка, собачья слепая кишка, пискливая дрянь! И знаете, как её зовут? Джио-ко-нда… Морда ты, морда тухлая!

Когда никого нет на балконе, я её дразню. Ух, как приятно! Становлюсь к ней задом и начинаю дёргать задней ногой: пять минут дёргаю.

Ах, какую она истерику закатывает! Как кот под автомобилем…

«Яй-яй-яй-и! Уй-уй-у-й-о! Ай-ай-ай-э!..»

Катышком прибегает ее хозяйка, такая же коротенькая, лохматенькая, пузатенькая, живот на ходу застегивает, и, Боже мой, чего она не наговорит:

— Деточка моя, пупупусичка! Кто тебя оби-би-би-дел?! Бедные мои глазочки! Чудные мои лапочки! Золотой, дорогой хвостичек!..

А я в комнату со своего балкона спрячусь, точно меня и на свете нет, по ковру катаюсь и лапами себя по носу бью. Это я так смеюсь.

Внизу, вверху, справа и слева играют на пианино. Я бы им всем на лапы намордники надел! Зина в школе. И зачем девочке так много учиться? Всё равно, вырастет, острижёт волосы и будет на кушетке по целым дням валяться. Уж я эту породу знаю.

Вчера из усадьбы приезжал садовник. Привёз яблоки и яйца. Лучшие отобрал для кухарки (знаем, знаем!), а худшие — для Зининых родителей. Поймите людей: носят очки, носят пенсне, а ничего у себя под носом не видят…

Прокрался в переднюю, встал на стул и положил ему в карман пальто рыбьих кишок… Пусть знает!

* * *

Был с Зиной в синема. Очень взволнован. Как это, как это может быть, чтобы люди, автомобили, дети и полицейские бегали по полотну?!. И почему все серые, чёрные и белые? Куда же девались краски? И почему все шевелят губами, а слов не слышно?.. Я видел на чердаке в коробочке засушенных бабочек, но, во-первых, они не двигались, а во-вторых, они были разноцветные…

Вот, Микки, ты и дурак, а ещё думал, что ты всё понимаешь!

Представление было очень глупое: он влюбился в неё и поехал на автомобиле в банк. Она тоже влюбилась в него, но вышла замуж за его друга. И поехала на автомобиле к морю с третьим. Потом был пожар и землетрясение в ванной комнате. И качка на пароходе. И негр пробрался к ним в

каюту. А потом все помирились…

Нет, собачья любовь умнее и выше!

Непременно надо изобрести синема для собак. Это же бессовестно — всё для людей: и газеты, и скачки, и карты. И ничего для собак.

Пусть водят нас хоть раз в неделю, а мы, сложив лапки, будем культурно наслаждаться.

«Чужая кость»… «Похороны одинокого мопса»… «Пудель Боб надул мясника» (для щенков обоего пола)… «Сны старого дога»… «Сенбернар спасает замёрзшую девочку» (для пожилых болонок)… «Полицейская собака Фукс посрамляет Пинкертона» (для детей и для собак).

Ах, сколько тем, Микки!.. Ты бы писал собачьи сценарии и ни в ком не нуждался. . . . . .

Новый стишок

На каштанах надулись почки, —
Значит, скоро весна.
У Зининой мамы болят почки, —
Поэтому она грустна…

Главный собачий фильм-директор фокс Микки

На пляже

Ах, как переменилась моя жизнь! Зина влетела в комнату, хлопс! — сделала колесом реверанс, ручки — птичками, глазки вниз и ляпнула:

— Микки! Мой обожаемый принц… мы едем к морю.

Я сейчас же полетел вниз, к консьержкиной болонке. Она родилась у моря и очень симпатично ко мне относится.

— Кики, муфточка… меня везут к морю. Что это такое?

— О! Это много-много воды. В десять раз больше, чем в люксембургском фонтане. И везде сквозняк. Моей хозяйке было хорошо, она могла затыкать уши ватой… Море то рычит, то шипит, то молчит. Никакого порядка! За столом очень много рыбы. Дети копаются в песке и наступают собакам на лапы. Но ты фокс: тебе будут бросать в воду палки, и ты их будешь вытаскивать…

— Чудесно!

— А когда ты устанешь, всегда возле моря на горке есть лес. Будешь разрывать кротовые норки и кататься по вереску.

— Это что за штука?

— Травка такая курчавенькая. Вроде бороды. Лиловенькие цветочки и пахнет скипидарчиком.

— Ну, спасибо! Дай лапку. Что тебе привезти с моря?

— Утащи у какой-нибудь девчонки тёпленький шарфик. Мой уже износился.

— Кики, я честный! Я не могу. Но сегодня у нас гости, я стащу для тебя шоколадного зайца.

— Мерси. Прощай, Миккочка…

Она ушла в угол и вытерла глаза о портьеру. Кажется, она в меня влюблена.

* * *

«В десять раз больше люксембургского фонтана»… У этих болонок нет никакого глазомера. В двадцать раз больше! До самого неба вода и больше ничего. И солёная, как селёдка… Почему солёная? Дождик ведь пресный и ручеёк в лесу, который всё время подливает в море воду, тоже пресный. А?

Люди ходят голые, в полосатых и чёрных попонках. В дырки снизу вставляют ноги. Пуговицы на плече. Вообще — глупо. Я, слава богу, купаюсь без костюма. Ах, что мы с Зиной выделываем в воде! Я лаю на прибой, а она бросает в меня мячик… Но

он большой и скользкий, а рот у меня маленький. И никак его, чёрта, не прокусишь! Гав!

Подружился со всеми детьми. Есть такие маленькие, что даже не могут сказать «Микки» и зовут меня: «Ми!» Сидят голенькие на песке и пускают пузыри. А один всё старается себе ногу в рот засунуть. Зачем?..

Я бегаю, вытаскиваю из воды детские кораблики, прыгаю через их песочные постройки, гоняюсь вперегонки с пуделем Джеком и весь берег меня знает. Какой чудный фокс! Чей это фокс? Зинин? Замечательный фокс!..

Вчера подсмотрел. У детей никаких хвостиков нет. Напрасно я сомневался…

* * *

Теперь про взрослых. Мужчины ходят в белых костюмчиках. Полдня курят. Полдня читают газеты. Полдня купаются. Полдня снимаются. Плавают хорошо, но очень далеко заплывают. Я слежу с купальной лестницы и всё волнуюсь: а вдруг утонет… Что я тогда должен делать?

Очень хорошо прыгают в воду с мостика. Руки по швам, голову вперёд — и бум! Перевернётся в воздухе рыбкой, руки вниз и прямо в воду… Пена… Никого нет… И выплывет совсем в другом

месте.

Я тоже взобрался на мостик и страшно-страшно хотел прыгнуть. Но так высоко! И так глубоко! Задрожал и тихонько спустился вниз. Вот тебе и Микки…

Дамы всё переодеваются и переодеваются. Потом раздеваются, потом опять переодеваются. Купаться не очень любят. Попробует большим пальцем правой ноги воду, присядет, побрызгает на себя водой и лежит на берегу, как индюшка в гастрономической витрине.

Конечно, есть и такие, которые плавают. Но они больше похожи на мальчиков. Вообще, я ничего не понимаю.

Сниматься они тоже любят. Я сам видал. Одни лежали на песке. Над ними стояли на коленках другие. А еще над ними третьи стояли в лодке. Называется: группа… Внизу фотограф воткнул в песок табличку с названием нашего курорта. И вот нижняя дама, которую табличка немножко заслонила, передвинула её тихонько к другой даме, чтобы её заслонить, а себя открыть… А та передвинула назад. А первая — опять к ней. Ух, какие у них были злющие глаза!

Стишок:

Когда дамы снимаются
И заслоняются,
Они готовы одна другой
Дать в глаз ногой!..

Да! Что я узнал!.. Море иногда сходит с ума и уходит. Курорт ему надоедает или что, я не знаю. И на песке всякие ракушки, и креветки, и слизняки… Зина говорит, что это все морские глисты. А потом море соскучится и приходит назад. Называется «прилив — отлив».

Здешнее море люди почему-то называют океаном.

Я было как-то погнался за морем, когда оно уходило, но Зина привязала меня чулком к скамейке. Нелюбознательная девочка!

Вчера познакомился в соседнем русском пансионе с кухаркой Дарьей Галактионовной. Руки у нее толстые, как итальянская колбаса, но, в общем, она миленькая. Называет меня Микитой и всё ворчит, что я с пляжа в кухню ей песок на лапах таскаю.

Песок вымести можно! Экая важность…

* * *

Еда так себе. Хотя я не интересуюсь: дети меня кормят шоколадом, котлетками и чем только хотите. Зина всё просит, чтобы я так много не ел, а то у меня сделается ожирение сердца и меня придётся везти в Мариенбад. А что, если бы был курорт для фоксов? Фоксенбад! Вот бы там открыть собачий кинематограф… Собачьи скачки, собачью рулетку, собачью санаторию для подагрических бульдогов… Умираю от злости! Почему, почему, почему для нас ничего не делают?

Кошек здесь нет. Ни одной кошки. Ни полкошки. Ни четверть кошки… Неужели они все пошли на котлетки? Брр! Нет, нет, я бегал на кухню, смотрел: куры, телячье мясо, баранина… А то бы я из курорта куда глаза глядят убежал!

Зина вчера мне устроила лунное затмение. Луна была такая круглая, огромная, бледная… Совсем как живот у нашего хозяина пансиона. Я задумался, загрустил и чуть-чуть-чуть подвыл. Только две-три нотки… А Зина взяла и надела мне на голову купальные штаны.

— Ты, — говорит, — не имеешь права после десяти часов выть!..

Но, во-первых, у меня нет часов, и даже кармана

для них нет… А во-вторых, настроение от часов не зависит.

Хотел послать Кики открытку с приветом… Но консьержка ревнивая — не передаст.

Чудный и замечательный фокс Микки

В зоологическом саду

У Зининого папы всегда «дела». У людей так уж заведено: за все нужно платить. За виллу, за зонтик, за мясо, за булки, за ошейник… и даже, говорят, скоро на фоксов двойной налог будет.

А чтоб платить — нужны деньги. Деньги бывают круглые, металлические, с дырочками — это «су». Круглые без дырочек — это франки. И потом разные — бумажные. Бумажные почему-то дороже и начинаются с пяти франков. Деньги эти как-то «падают», «поднимаются», — совершенно глупая история, но я не человек, и меня это не касается.

Так вот, чтоб иметь деньги, надо делать «дела». Поняли? И Зинин папа поехал на неделю в Париж, взял с собою Зину, а Зина — меня.

И пока её папа «бегал» по делам (он почему-то по делам всегда бегает, никогда не ходит), Зина взяла меня на цепочку, села в такси (почему оно так скверно пахнет?) и поехала в Зоологический сад.

Сад! Совсем не сад, а просто тюрьма для несчастных животных. Подождите минуточку: у меня на спине сидит блоха… поймаю и расскажу всё

по порядку.

* * *

Когда я был совсем куцым щенком, Зина мне про этот сад рассказывала: «Какой там носорог! И какая под ним грязь! А ты, Микки, не хочешь умываться… Стыдно!»

И всё неправда. Носорога нет. Или подох со скуки, или убежал в город и скрывается в метро, пока его не раздавят…

Но зато видел верблюда. Он похож на нашу консьержку, только губа больше и со всех сторон шерсть. Мало ему горба на спине, так у него даже колени горбатые! Питается колючками и, кажется, уксусом. Я бы ему граммофонных иголок дал! Он, негодяй, когда Зина дала ему булочку, фыркнул, булку слопал и плюнул ей на бант! Был бы ты на свободе, я бы тебе показал…

Белая медведица очень миленькая. Сидит в ре-де-шоссе в каменной ванне и вздыхает. Свиньи какие! Хотя бы её на лёд посадили или на мороженое, ведь ей жарко.

Маленький мальчик бросил ей бисквит. Она вылезла, отряхнулась, вежливо приложила лапку ко лбу и съела. Будет она сыта, как же! И мальчик второй бисквит ей на мелкие кусочки накрошил:

боялся, видно, чтобы она не подавилась. Воробьи всё и склевали. Ну за что — за что её держат в тюрьме? У Зины есть старый плюшевый Мишка. Непременно завтра притащу и брошу медведице: пусть будет ей вместо сына…

* * *

Обезьян совсем, совсем не жалко! Они страшные морды, и я их вовсе не трогал. Подошёл и только немножко отвернулся в бок: ужасно скверно они пахнут… Кислой резинкой, тухлой килькой и ещё каким-то маринованным поросячьим навозом.

Одна посмотрела на меня и говорит другой: «Смотри, какой собачий урод»…

Я?!. Гав, идиотка! Я… урод?!. А ты-то что же?..

Побегу в Зинин шкафик, понюхаю валерьяновую пробку. Как у меня колотится сердце!..

Тигр — противный. Большая кошка и больше ничего. Воображаю, если его пустить в молочную. Целую ванну сливок выпьет, не меньше. А потом съест молочницу и пойдёт в Булонский лес отдыхать.

Лев — славненький… Один совсем старичок. Под кожей складки, лысый и даже хвостом не дрыгает. Зина читала как-то, что лев очень лю-

бит, если к нему в клетку посадить собачку. Пять разорвет, а с шестой подружится. Я думаю, что лучше быть… седьмой — и гулять на свободе.

Есть ещё какие-то зубры. Мохнатый, рогатый, голова копной. Зачем такие водятся? Ни играть с ним, ни носить его на руках нельзя… Вообще на свете много лишнего.

Дикобраз, например. Ну, куда он годится? Камин им чистить, что ли? Или кенгуру… На животе у нее портмоне, а в портмоне кенгурёнок. А шкура у неё, кажется, застегивается на спине, как Зинин лифчик. Ерунда!

Слава богу, что я фокс! Собак в клетки не сажают. Хотя бы некоторых следовало: бульдогов и разных других догов. Очень несимпатичные собаки! И почти дикие. У нас напротив живёт бульдог Цезарь, так он непременно норовит перед нашей дверью сделать пакость. Надо будет ему отомстить. Как?.. Очень просто. У них ведь тоже есть дверь…

Людей в клетках не видал. А уж нашего садовника не мешало бы посадить! С кухаркой вместе. Написать: «Собачьи враги». И давать им в день по кочану капусты и по две морковки — больше ни-ни. Почему они меня не кормили? Почему сами крали и яйца, и сливки, и коньяк, а меня за

каждую несчастную косточку ногой шпыняли?

Видел змей. Одна, большая и длинная, как пожарная кишка, посмотрела на меня и прошипела: «Этого, пожалуй, не проглотишь». Скотина… Так тебе и позволили живых фоксов глотать!

У слона два хвоста — спереди и сзади, и рога во рту… И пусть меня сто раз уверяют, что это «хобот» и «клыки», я говорю: хвост и рога! Зина решила, что если посмотреть на мышь в телескоп, то получится слон. А что такое телескоп, пёс его знает!

Да… Птицы, оказывается, бывают ростом с буфет. Страусы!.. И на хвосте у них такие же перья, как в альбоме у Зининой бабушки на шляпе. Перьев этих теперь больше не носят, молока страусы не дают, значит, надо их просто зажарить, начинить каштанами и съесть! Ты бы, Микки, хотел страусовую лапку погрызть? Что ж, я любопытный…

Поздно. Надо идти спать. А в голове карусель: обезьяньи зады, верблюжьи горбы, слоновые перья и страусовые хоботы…

Пойду ещё понюхаю валерьяновую пробочку. Сердце так и стучит… как мотоциклет…

Тошнит! Ик… Где кухаркина умывательная чашка?!.

Мокс-Фикки

Как я заблудился

Карандаш дрожит в моих зубах… Ах, что случилось! В кинематографе это называется «трагедия», а по-моему, ещё хуже.

Мы вернулись из Парижа на пляж, и я немножко одурел. Носился мимо всех кабинок, прыгал через отдыхающих дам, обнюхивал знакомых детей — душечки! — и радостно лаял. К черту Зоологический сад, да здравствует собачья свобода!

И вот… допрыгался. Повернул к парку, нырнул в какой-то зелёный переулок, попал в чужой огород — растерзал старую туфлю, оттуда в поле, оттуда на шоссе — и всё погибло! Я заблудился… Сел на камень, задрожал и потерял «присутствие духа». До сих пор я не знал, что такое это «присутствие»…

Обнюхал шоссе: чужие подметки, пыль, резина и автомобильное масло… Где моя вилла? Домики вдруг стали все одинаковые, дети у калиток, словно мыши, сделались похожи друг на друга. Вылетел к морю: другое море! И небо не то, и берег пустой и шершавый… Старички и дети обдирали со скалы устриц, никто на меня и не взглянул. Ну, конечно, идиотские устрицы интереснее

бездомного фокса!

Песок летит в глаза. Тростник лопочет какой-то вздор. Ему, дураку, хорошо — прирос к месту, не заблудится… Слёзы горохом покатились по морде. И ужаснее всего: я голый! Ошейник остался дома, а на ошейнике мой адрес. Любая девчонка (уж я бы устроил!) прочла бы его и отвела меня домой. Ух! Если бы не отлив, я бы, пожалуй, утопился… Примечание: и был бы большой дурак, потому что я всё-таки отыскался.

* * *

Перед жёлтым забором у палисадничка прислонился к телеграфному столбу и опустил голову. Я видел на картинке в такой позе заблудившуюся собачку, и поза эта мне очень понравилась.

Что ж, я не ошибся. В калитке показалось розовое пятно. Вышла девочка (они всегда добрее мальчиков) и присела передо мной на дорожке.

— Что с тобой, собачка?

Я всхлипнул и поднял правую лапку. Понятно и без слов.

— Заблудилась? Хочешь ко мне? Может быть, тебя ещё и найдут… Мама у меня добрая, а с папой справимся.

Что делать? Ночевать в лесу… Разве я дикий

верблюд? В животе пусто. Я пошёл за девочкой и благодарно лизнул её в коленку. Если она когда-нибудь заблудится, непременно отведу её

домой…

— Мама! — запищала она. — Мамочка! Я привела Фифи, она заблудилась. Можно её пока оставить у нас?

О! Почему «Фифи»?!. Я Микки, Микки! Но я, у которого такие прекрасные мысли, не могу ведь и полслова сказать на их человеческом языке… Пусть. Кто сам себе яму копает, тот в неё и попадает…

Мама надела пенсне (будто и без пенсне не видно, что я заблудился!) и улыбнулась:

— Какая хорошенькая! Дай ей, дружок, молока с булкой. У неё очень порядочный вид… А там посмотрим.

«У неё»… У него, а не у неё! Я же ведь мальчик. Но ужасно хотелось есть, надо было покориться.

Ел я не торопясь, будто одолжение им делал. Вы угощаете? Спасибо, я съем. Но, пожалуйста, не подумайте, что я какой-нибудь голодный бродячий пёс.

Потом пришел папа. Почему эти папы всюду суют свой нос, не знаю…

— Что это за собака? Что у тебя, Лили, за манера

тащить всех зверей к нам на виллу? Может быть, она чахоточная… Пойди, пойди прочь отсюда! Ну!

Я? Чахоточная?!

Девочка расхныкалась. Я с достоинством сделал шаг к калитке. Но мама строго посмотрела на папу. Он был дрессированный: фукнул, пожал плечами и пошёл на веранду читать свою газету. Съел?

А я встал перед мамой на задние лапки, сделал три па и перепрыгнул через скамеечку. Гоп! Вперёд, тур вокруг комнаты, и назад…

— Мамочка, какой он умница!

Ещё бы. Если бы я был человеком, давно бы уже профессором был.

* * *

Новый папа делает вид, что меня не замечает. Я его — тоже… Во сне видел Зину и залаял от радости: она кормила меня с ложечки гоголь-моголем и говорила: «Ты моё сокровище… если ты ещё раз заблудишься, я никогда не выйду замуж».

Лили проснулась, — в окне белел рассвет, — и свесила голову с кроватки.

— Фифи! Ты чего?

Ничего. Страдаю. Кошке всё равно: сегодня

Зина, завтра Лили. А я честная, привязчивая собака…

Второй день без Зины. К новой девочке пришёл в гости толстый мальчик — кузен. У собак, слава богу, кузенов нет… Садился на меня верхом, чуть не раздавил. Потом запряг меня в автомобиль, — а я упёрся! Собаку? В автомобиль?!. Тыкал моими лапами в пианино. Я всё снёс и из вежливости даже не укусил его…

Лилина мама меня оценила и, когда девочка опрокинула тарелку с супом, показала на меня:

— Бери пример с Фифи! Видишь, как она осторожно ест…

Опять Фифи! Когда что-нибудь не нравится, говорят: «Фи!»

Фи-фи, значит, когда совсем не нравится? Придумают же такое цыплячье имя… Я нашёл под шкафом кубики с буквами и сложил: «Микки». Потянул девочку за юбку — читай! Кажется, ясно. А она ничего не поняла и кричит:

— Мама! Фифи умеет показывать фокусы!

— Хорошо. Дай ему шоколаду.

Ах, когда же, когда же меня найдут? Побежал даже в мэрию. Быть может, Зина заявила туда, что я потерялся. Ничего подобного. На пороге лежала лохматая дворняжка и зарычала:

— Р-рав! Ты куда, бродяга, суёшься?

Я?!. Бродяга?!. Мужик ты несчастный!..

Счастье твоё, что я так воспитан, что с дворнягами в драку не лезу…

* * *

«Гора с плеч свалилась»… Куда она свалилась, не знаю, но словом… я нашёлся!

Лили вышла со мной на пляж. И вдруг вдали лиловое с белым платьице, полосатый мяч и светлые кудряшки. Зина!!.

Как мы целовались, как мы визжали, как мы плакали!

Лили тихонько подошла и спросила:

— Это ваша Фифи?

— Да! Только это не Фифи, а Микки…

— Ах, Микки! Извините, я не знала. Позвольте вам её передать. Она заблудилась, и я её приютила…

А у самой в глазах «трагедия».

Но Зина её утешила. Поблагодарила «очень-очень- очень» и обещала приходить со мной в гости. Они подружатся, уж я это по глазам заметил.

Я, разумеется, послужил перед Лили и передние лапки накрест сложил: Mercі! Очень- очень-

очень…

И пошёл сконфуженный за Зиной, ни на шаг не отходя от ее милых смуглых ножек.

Микки

В цирке

У нашего вокзала появились длинные дома на колёсах. Не то фургоны, не то вагоны. Красные, с зелёными ставеньками, над крышей труба, из трубы дым. На откидной ступеньке одного дома сидел карлик с огромной головой и красными глазами и мрачно курил трубку. А в глубине двора тоже вагоны-дома, но с решётками, и пахло от них густо-прегусто зоологическим садом.

На афишах чудеса… Три льва прыгают через укротительницу, а потом играют с ней в жмурки. Морж жонглирует горящей лампой и биллиардными шарами. Морж — такой неповоротливый дурак… кто бы подумал! Знаменитый пудель Флакс решает задачи на сложение и вычитание… Важность какая… Я и делить и умножать умею… Однако в знаменитости не лезу. Мисс Каравелла исполнит на неосёдланном жеребце джигу — матросский танец. Негр Буль-Пуль… Стоп! Не надо забегать вперёд, Микки, а то совсем спутаешься, — что это за собачья привычка такая!

* * *

Зинин папа взял нам ложу: мне и Зине. Ложа — это такая будка, вроде собачьей, но без крыши. Обита красным вонючим коленкором. Стулья складные и жёсткие, потому что цирк походный.

Оркестр ужасный! Я вообще музыки не выношу, особенно граммофона. Но когда один скелет плюет в флейту, а другой, толстяк, стоймя поставил огромную скрипку и ёрзает по ней какой-то линейкой, а третий лупит палками по барабану, локтями о медные линейки и ногами в большой пузатый бубен, а четвёртая, лиловая курица, разъезжает взад и вперёд по пианино и подпрыгивает… О! «Слуга покорный», — как говорит Зинин холостяк-дядя, когда ему предлагают жениться.

Клоуны — просто раскрашенные идиоты. Я думаю, что они напрасно притворяются, будто они нарочно идиоты, наверно, такие и есть. Разве станет умный человек подставлять морду под пощёчины, кататься по грязным опилкам и мешать служителям убирать ковер? Совсем не смешно. Одно мне понравилось: у того клоуна, у которого сзади было нарисовано на широких штанах солнце, чуб на голове вставал и опускался… Ещё ухо,

я понимаю, но чуб! Очень интересный номер!

Жеребец-толстяк, а что он неосёдлан, совсем не важно. У него такая широкая спина, даже с выемкой, что пляши на ней, как на хозяйской постели, сколько хочешь. Прыгал он лениво. Словно вальсирующая корова… А мисс Каравелла всё косилась трусливо на барьер и делала вид, что она первая наездница в мире. Костюм славненький: вверху ничего, а посредине зелёный и жёлтый бисер. И зачем она так долго ездила? Жеребец под конец так вспотел, что я расчихался… Неинтересно.

Потом поставили круглую решётку, подкатили к дверям клетку, и вышли львы. Вышли… и зевают. Хорошие дикие звери! Зина немножко испугалась (девчонка!), но ведь я сидел рядом. Чего же бояться? Львы долго не хотели через укротительницу прыгать: уж она их упрашивала, и под шейкой щекотала и на ухо что-то шептала, и бичом под брюхо толкала. Согласились — и перепрыгнули. А потом завязала им глаза белыми лентами, взяла в руки колокольчик и стала играть с ними в жмурки. Один лев сделал три шага и лёг. Другой понюхал и пошёл за ней… Обман! Я сам видел — у неё в руке был маленький кусочек мяса… Неинтересно!

Выходило ещё голландское семейство эквилибристов. Папа катался на переднем колесе велосипеда (отдельно!), мама на другом колесе (тоже отдельно!), сын скакал верхом на большом мяче, а дочка каталась на широком обруче задом наперёд… Вот это здорово!

Потом летали тарелки, ножи, лампы, зонтики, мальчики и девочки. Ух! Я даже залаял от радости. А под конец всё семейство устроило пирамиду. Внизу папа и мама, на плечах две дочки, у них на плечах мальчик, у него на плечах собачка, у собачки на плечах… котёнок, а у котёнка на плечах… воробей! Трах! и всё рассыпалось, закувыркалось по ковру и убежало за занавеску… Браво! Бис! Гав-гав-гав!

* * *

В антракте было ещё веселей. Антракт — это когда одно кончилось, а другое ещё не началось. И вот взрослые с детьми постарше пошли за занавеску смотреть лошадей и прочих млекопитающих, а самые крошечные дети вылезли из всех лож и углов на арену и устроили свой собственный цирк.

Девочка с зелёным бантом изображала дрессированную лошадь и на четвереньках гарцевала

по барьеру: голова набок, а сама всё правой ножкой брыкала. Мальчишки, конечно, были львами и, пожалуй, свирепее настоящих — рычали, плевались, кусались и бросали друг в дружку опилками. Двое даже подрались: один другого шлёпнул, — шлёпают же клоунов, — а тот ему сдачи… И оба заревели, совсем уж не по-клоунски… А я носился по всей арене и хватал их всех (шутя, конечно!), за коленки.

Вышел карлик в сиреневом сюртучке с медными пуговицами и зазвонил в колокольчик. Дзинь-дзинь! Долой с арены — представление продолжается! Один из «львов», совсем ещё маленький мальчик, ни за что не хотел уходить. И пришла его мама из ложи, взяла льва на руки, шлёпнула и унесла на место. Вот тебе и лев!

* * *

Морж — молодец. Вернусь на нашу виллу и непременно попробую жонглировать горящей лампой. У меня, правда, не такой широкий нос… Ну, что ж, возьму маленькую лампочку…

Я побежал за занавеску: оказывается, у моржа в загородке есть цинковая ванна, а после представления ему дают живую рыбу, бутерброд с рыбьим жиром и рюмку водки. Здорово!

Да, что я ещё заметил! Под края циркового шатра подлезают бесплатные мальчишки и смотрят на представление… А карлик бегает кругом и хлопает их прутом по пяткам.

Негр Буль-Пуль вроде сумасшедшего. Играл на метле «марш пьяных крокодилов», аккомпанировал себе на собственном животе, а ногами выделывал такие штуки, точно у него было четыре пары лап… И пахло от него корицей и жжёной пробкой. Фи!

Потом вышел «факир». Факир — это человек, который сам себя режет, а ему даже приятно и кровь не идёт. Он себя, должно быть, замораживает перед представлением. Проткнул себе губы вязальной спицей, под мышку вбил гвоздь… Я даже отвернулся. Нервы не выдержали… А самое ужасное: он взял у толстого солдата из публики никелевые часы, проглотил их, только кончик цепочки изо рта болтался, — и попросил публику послушать, как у него в груди часы тикают. Ужас! Кожа по морозу продирается!

Кажется, всё. На закуску вылетела на арену крохотная мохнатая лошадка с красной метелкой над головой и с колокольчиками. Я и не знал, что есть такая порода лошадиных болонок! Она так чудесно прыгала сквозь обруч, становилась на

задние лапки и брыкалась, что Зина пришла в восторг. Я тоже.

Удивляюсь, почему Зинин папа не купит ей такую лошадку… Запрягли б мы её в шарабанчик и катались по пляжу. Это тебе не на осле черепашьим шагом топтаться!.. И все бы очень удивлялись, и я бы получал много сахару…

«Кто едет?» — «Микки с Зиной!»

«Чья лошадка?» — «Миккина с Зиной!» — Чудесно!

Устал. Больше не могу… Вот сейчас только подпишусь и побегу на пляж играть в цирк. Бум-бум!

Знаменитый укротитель догов и бульдогов, эквилибрист и наездник
Фокс Микки

Проклятый пароход

У курортной пристани качался белый дом-пароход. Труба, балкончик для капитана, внизу круглые окошечки, чтобы рыбы могли заглядывать в каюты. Спереди нос острый, сзади — тупой… Вода подшлёпывает снизу, верёвка скрипит, из пароходной печки — дым.

«Гу-гу!» Фу, как труба противно лает. Все затыкают уши, а я не могу… Зина берёт меня на ручки, — я дрожу, доски под нами тоже дрожат, — и несёт меня на эту противную штуку. Сзади — папа.

Прогулка! Мало им места на земле… Я хоть плавать умею, а они что будут делать в своих ботинках и чулках, если дом перевернётся?

Люди шли — шли — шли. Чистые костюмчики, из карманов — платочки (зубных щёток в петличках, слава богу, еще не носят!), — и все толкаются, и все извиняются. Пардон! А ты не толкайся, и пардона твоего не нужно, а то все лапы отдавили…

Сели на скамейки по бокам и вверху и внизу, как воробьи на телеграфных проволоках… Небо качается, улица качается и наш пол качается. И

я совсем потерял центр тяжести, присел на пол и распластался, как лягушка на льду.

Так мучить сухопутного фокса! За что?!.

«Гу-гу-гу!» — Поехали. Все машут лапами и посылают безвоздушные поцелуи. Подумаешь… На три часа уезжаем, и такое лицемерие. Подкрался к загородке посреди парохода и посмотрел вниз: железные лапы ходят, чмокают и переворачиваются, а главная нога, вся в масле, вокруг себя пляшет… Машина. «Чики-фуки, фуки-чики, пики-Микки, Микки-пики»… Да остановись ты хоть на минутку!!.

* * *

Пока шли проливчиком — ничего. А потом заливчик, а потом… ух! Там море, тут море, небо с водой кругом сошлось, горизонты какие-то со всех сторон появились… Разве так можно? А земля где?!. За пароходом — белый кипяток, чайки вперегонку за нами летят и кричат, как голодные котята… Столько рыбы в море, целый день обедать можно, чего им еще надо?

Ну, что ж, раз прогулка, нечего под скамейкой пресмыкаться. Пошёл по ногам, ноги вежливо раздвигаются. Пардон, силь ву пле. (Извините, если вам нравится!)

У матросов деревянные башмаки — корабликами, у пассажиров обыкновенные, белые и жёлтые туфли. Практично и симпатично. А у дам, что ни ноги, то другой фасон: с бантиками, с пряжечками, с красной решёткой, с зелёными каблучками… Кто им эти фасоны выдумывает?..

Был у капитана на балкончике. Старенький, толстенький, борода, как у рождественского деда, глазки голубенькие. Расставил ноги и забавляется: повернёт колесо с палками в одну сторону, потом в другую, потом в третью, а сам в трубку рычит: «Доброе утро! — пол доброго утра! — четверть доброго утра!» — А может быть, я и напутал.

Нашёл кухню. Пол себе качайся, а она свое дело делает. Варит. Повар сунул мне в нос омара… но я на него так посмотрел, что ему стыдно стало, и он высморкался (повар).

А пол всё подымается, волны, как бульдоги, со всех сторон морды в пене, и все на меня кивают. Ай! Подымается, опускается. Смейся! Посади-ка краба на сушу, небось ему тоже будет не сладко. Ветер свистит и выворачивает уши наизнанку. Ай!..

У нашего соседа слетела в воду шляпа. «Свежеет!» — успокоил его Зинин папа. Дуреет, а не

свежеет… Ба-бах! Ба-ба-бах!

Я прижался к ногам незнакомой старухи, закрыл глаза и тихонько-тихонько визжал: Море! Золотое мое море… Ну, перестань, ну, успокойся! Я никогда больше не поеду. Я маленький фокс, ничтожная собачка, за что ты на меня сердишься? Я никогда тебя не трогал, никогда на тебя не лаял (ух, как я врал!)…

Да, так оно тебе и перестанет. И вот я вышел из себя. Вспрыгнул на скамейку, повернулся к морю спиной и наступил лапой на спасательный круг. На всякий случай, — если бы пришлось спасать Зину, её папу и капитана. Повар пусть тонет… Злой фокс. Зачем я пишу такие гадости? Спас бы и повара, пёс с ним…

* * *

Всё? Нет, не всё! Жадные сухопутные люди не знают уже, что и придумать. Мало им берега, леса, поля, шоссе. Летать им надо! Сели на бензинную этажерку… и полетели. Даже смотреть страшно. Но ведь летают отдельные сумасшедшие, у них, верно, нет родителей и некому их остановить. А по морю катаются все: дети, мамы, папы, дедушки и даже грудные младенцы. Вот судьба («судьба» — это вроде большой, злой летучей

мыши) их и наказывает…

Качались и докачались. Собаки, говорят, себя нехорошо ведут. Ага! Собаки… Посмотрели бы вы, как ведут себя на пароходе люди в новых костюмчиках, с новыми платочками в карманах, когда начинается качка!

Я закрывал глаза, старался не дышать, нюхал лимонную корочку… Брр!

Но Зина — молодец. И ее папа — молодец. И капитан — молодец… А я… лучше не спрашивайте.

* * *

Когда показалась земля, миленькая зелёная земля, твёрдая земля с домиками, собачками, мясными лавками и купальными будками, я завизжал так пронзительно, что перекричал даже пароходный гудок.

Клянусь и даю честное собачье слово, что лапа моя никогда на пароходе больше не будет! Почему меня всюду за собой таскают?.. Завтра Зинин папа затеет прогулку на облаках, так я с ними летать должен?!. Пардон! Силь ву плэ! (Извините, если вам нравится)!..

Ага! Так и знал. Этот невозможный папа подцепил рыбака и заказывает ему на завтрашнюю ночь барку с луной и рыбной ловлей…

На луну я и с берега посмотрю, а рыбу — кушайте сами…

Море сегодня, правда, тихое, — знаем мы эту тишину. Но в комнате ещё тише. Пол не качается, потолок не опрокидывается, пена не лезет в окошко и люди вокруг не зеленеют и не желтеют. Брр!..

Старый морской волк – фокс Микки.

Возвращаюсь в Париж и ставлю большую точку

На веранде стояли чемоданы: свиной кожи, крокодиловой кожи и один маленький… брр!.. кажется, собачьей. В палисаднике жёлтые листья плясали фокстрот.

Я побежал к океану: прощай!.. — «Бумс!» — Фи, какой невежливый. С ним прощаются, а он водой в морду…

От полотняных купальных будок одни рёбра остались. Небо цвета грязной собаки. Астры висят головами вниз: скучают. Прощайте, до свидания! Хоть вы и без запаха, но я вас никогда, никогда не забуду…

Простился с лесом. Он, верно, ничего не понял: зашумел, залопотал… Что ему маленький, живой Микки?

Простился с лавочницей. Она тоже скучная. Сезон кончился, а тухлые кильки так и не распроданы.

Чемоданы всю дорогу толкались и мешали мне думать. Зина серьёзная, как наказанный попугай. Выросла, загорела. В голове уроки, подруги

и переводные картинки, — на меня ни разу не взглянула…

И не надо! Что это за любовь такая по сезонам? Подружусь вот в Париже с каким-нибудь порядочным фоксом и «никаких испанцев» (очень я люблю глупые человеческие слова повторять!)…

* * *

Приехали. Риехали. Иехали. Ехали. Хали. Али. Ли. И… Это я так нарочно пишу, а то лапа совсем затекла.

Консьержкина собачонка посмотрела на меня с порога и отвернулась. Герцогиня какая! Ладно… Я тоже умею важничать. Вот повезут меня на собачью выставку, получу первую золотую медаль, а ты лопайся от зависти в консьержкиной берлоге.

Совсем отвык от мебели. Тут буфет, там полубуфет, кровати шире парохода — хоть бы лестнички к ним приставили… Гадость какая! А они ещё хотят внизу у мебельщика старую шифоньерку купить! Красного дерева. Пусть хоть лилового, грош ей цена.

Ах, как тесно в квартире! Горизонт перед носом, лес в трёх вазонах, перескочить можно. И попрыгать не с кем. Зина в школе, тропики какие-то изучает. Кухарка сердится и всё губы мажет. Вот

возьму и съем твою помаду, будешь с белыми губами ходить!..

На балконе коричневые листики корчатся и шуршат. Воробей один к нам повадился прилетать. Я ему булочку накрошил, а он вокруг моего носа прыгает и клюёт.

Вчера от скуки мы с ним поболтали.

— Ты где живёшь, птичка?

— А везде.

— Ну, как везде?.. Мама и папа у тебя есть?

— Мама в другом аррондисмане, а папа в Сэн-Клу улетел…

— Что же ты одна делаешь?

— Прыгаю. Над скверико́м полетаю, на веточке посижу. Вот ты у меня завёлся: крошками кормишь. Хорошо!

— Не холодно тебе? Ведь осень…

— Чудак, да я ж вся на пуху. Чивик! Воробьи на углу дерутся… Эй-эй, подождите! Я тоже подраться хочу…

Фурх — и улетел. Боже мой, боже мой, почему у меня нет крыльев?..

* * *

Дрожу, дрожу, а толку мало. Центральное отопление вчера зашипело, я только спинку погрел, а

оно остановилось. Проба была. Через две недели только его заведут на всю зиму. А я что ж, две недели дрожать должен?!.

Спать хочется ужасно. Днем сплю, вечером сплю, ночью… тоже сплю.

Зина говорит, что у меня сонная болезнь. Мама говорит, что у меня собачья старость. Музыкальная учительница говорит, что у меня чума… Гав! На одну собаку столько болезней?!.

А у меня просто тоска. Очень мне нужна ваша осень и зима и квартира с шифоньерками!

И тетрадка моя кончается. И писать больше не о чем… У-у! Был бы я медведь, пошёл бы в лес, лёг в берлогу, вымазал лапу мёдом и сосал бы её до самой весны…

Сегодня на балкон попал кусочек солнца: я на него улёгся, а оно из-под меня ушло… Ах, боже мой!

Пока не забыл, надо записать вчерашний сон: будто все мы, я и остальное семейство, едем на юг в Канны. Бог с ним, с зимним Парижем! И будто Зина с мамой ушли в закусочный вагон завтракать… Папа заснул (он всегда в поезде спит), и так горько мне стало!.. Почему меня не взяли с собой? А из саквояжа будто кто-то противным кошачьим голосом мяукнул:

«Потому что собак в вагон-ресторан не пускают. Кошек всюду пускают, а собак, ах, оставьте»!..

И я рассвирепел, в саквояж зубами вцепился и… проснулся.

* * *

Перелистывал свои странички. А вдруг бы их кто-нибудь напечатал?!. С моим портретом и ав-то-гра-фом?..

Попала бы моя книжка в лапки какой-нибудь девочке в зелёном платьице… Села бы она у камина с моим сочинением, читала бы, перелистывала бы и улыбалась. И в каждом доме, где только есть маленькие ножки с бантиками и без бантиков, знали бы моё имя: Микки!

Зина спит, часы тикают. Консьержка храпит — о! — я и через пол слышу…

До свидания, тетрадка, до свидания, лето, до-свидания, дети — мальчики и девочки, папы и мамы, дедушки и бабушки… Хотел заплакать, а вместо того чихнул.

Ставлю большую, большую точку . Гав! Опять меня блоха укусила!.. В такую трогательную минуту…

Кровопийца собачья!..

Всеобщий детский друг, скромный и сонный
Фокс Микки